

18+



Павел Пеперштейн
Экспозиционист
германский роман

GARAGE

Павел Викторович Пепперштейн

Экзгибиционист.

Германский роман

epub

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67853055

Музей современного искусства «Гараж»; 2021

ISBN 978-5-9909717-4-5

Аннотация

«Загадочное блаженство, чью природу мне не удалось постичь, было связано с неким местом, о котором я долго полагал, что оно существует лишь в моих сновидениях: обрыв за гороховым полем. На самом краю этого обрыва деревянный мухомор и железные качели, но, кроме мухомора и качелей, никаких намеков на детскую площадку, а если смотреть с обрыва вниз – там расстилалась местность, которая казалась мне потусторонним миром: невзрачная, заросшая какой-то дикой и буйной зеленью, а у самого подножия обрыва можно было различить остов старого автомобиля без колес и стекол, совершенно ржавый и насквозь проросший травой.

Часто я видел это место в своих младенческих снах. Часто это место просто являлось в моем сознании – без приглашения, скромно и дерзко обнажая свою непостижимую и ничем не заполненную тайну. И каждый раз, находя в себе

этот обрыв за гороховым полем, я испытывал пронзительное и непонятное наслаждение, нечто совершенно экстремальное – подобное, наверное, испытывает обожатель парашютной эйфории, вываливаясь из своего самолета...»

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Содержание

Thanks & Warnings	6
Глава первая	8
Глава вторая	20
Глава третья	26
Глава четвертая	41
Глава пятая	79
Глава шестая	102
Глава седьмая	133
Глава восьмая	248
Глава девятая	288
Глава десятая	308
Конец ознакомительного фрагмента.	318

Павел Пепперштейн

Экспозиционист

германский роман

В издании публикуются фотографии и репродукции из личного архива автора. На обложке: «Новогодняя ель», «Колонна» из серии «From Mordor with Love» (2010)

Все права защищены

© Павел Пепперштейн, текст, изображения, 2020

© Музей современного искусства «Гараж», 2020

© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2020

* * *

Thanks & Warnings

Всё, что описано в этой книге, является следствием неконтролируемой деятельности сознания. Соответственно, все персонажи и события, которые вы встретите на этих страницах, вымышлены, а все совпадения с реальными персонажами и событиями либо случайны, либо представляют собой отзвуки литературной игры, чьи правила утеряны, а результаты неизвестны.

Автор выражает искреннюю благодарность Виктору Пивоварову, Ксюше Драныш, Лоренсу Стерну, Антону Белову, Георгу Витте, Элоизе Мэйфлауэр, Леониду Алексеевичу Болотникову, Даниле Стратовичу, Жан-Жаку Руссо, Насте Копелевич, Зигмунду Фрейдю, Теодору фон Фредигеру, Елене Уолкер, Отто Грингольду, Кате Иноземцевой, Виктору Осипову, Бенуа Мандельброту, Евгению Мандельштаму, Дмитрию Зильберштейну, Дмитрию Менделееву, Коко Мендельсон-Бартольди, Владимиру Овчаренко, Наташе Тазбаш, Арише Аттик, Владе Трубачевой, Кате Ираги, Эрику Багдасаряну, Линде Флигель, Наташе Норд, Соне Пантормино, Яне Сидр, Виктору Заксу, Андрею Кондакову, Юле Анисовец, Борису Гройсу, Кате Каменевой, Роману Абрамовичу, Филиппу Бедросовичу Киркорову, Андрею Монастырскому, Энрике Берлингуэру и другим самоотверженным и любознательным людям, которые своим сердечным участием способ-

ствовали осуществлению данного непостижимого проекта.

Я также хочу изъяснить отдельную благодарность абрикосам и устрицам, с которыми меня связывают многолетние особые отношения.

*Петр Петербург
Никологорская пойма,
снежный январь*

*Посвящается немецкому языку, которого я не
знаю.*

*Духи Севера, нахмутив брови, наблюдают за
нашими перемещениями.
Гуго фон Гофмансталь*

Глава первая

Обрыв за гороховым полем

Загадочное блаженство, чью природу мне не удалось постичь, было связано с неким местом, о котором я долго полагал, что оно существует лишь в моих сновидениях: обрыв за гороховым полем. На самом краю этого обрыва деревянный мухомор и железные качели, но, кроме мухомора и качелей, никаких намеков на детскую площадку, а если смотреть с обрыва вниз – там расстилалась местность, которая казалась мне потусторонним миром: невзрачная, заросшая какой-то дикой и буйной зеленью, а у самого подножия обрыва можно было различить остов старого автомобиля без колес и стекол, совершенно ржавый и насквозь проросший травой.

Часто я видел это место в своих младенческих снах. Часто это место просто являлось в моем сознании – без приглашения, скромно и дерзко обнажая свою непостижимую и ничем не заполненную тайну. И каждый раз, находя в себе этот обрыв за гороховым полем, я испытывал пронзительное и непонятное наслаждение, нечто совершенно экстремальное – подобное, наверное, испытывает обожатель парашютной эйфории, вываливаясь из своего самолета.

Это переживание можно обозначить двумя встречными

формулами: «тайна как наслаждение» и «наслаждение как тайна». Тайна сохраняется в тайне, и я долго никому не рассказывал об этом фантазме, хотя нередко рисовал заветный обрыв – сначала мраморными карандашами (о них речь впереди), затем тушью.

Но как-то раз все же рассказал родителям, и тут выяснилось, что это место существовало в реальности – там со мной гуляли в моем младенчестве.

Нечто подобное я затем испытал в Мавзолее Ленина, куда нас повели всем детским садом. Я не любил детский сад и не ожидал от этой экскурсии ничего приятного, но внезапно гробница и мумия меня очаровали и напомнили об обрыве за гороховым полем. Сказка о спящей царевне вспомнилась мне: румяная мумия загадочно и сладко цепенела в стеклянном гробу, видимо, в ожидании поцелуя и воскресения. Не столько смерть, сколько волшебный сон был здесь экспонатом. В храмовом пространстве мавзолея нельзя было остановиться, данная модель вечности предполагала лишь мимолетное соприкосновение с ней. Тут работала базовая структура фантазма – нечто центральное можно увидеть лишь боковым зрением: люди протекают мимо стеклянного гроба, как ручей, они должны здесь олицетворять текучесть и непоседливость самой жизни, контрастируя с неподвижностью того объекта, ради которого они явились сюда, контрастируя с неподвижностью часовых в изумрудных шинелях, чей цвет

перекликался с оттенком сакраментальных сибирских листовенниц, составляющих вокруг мавзолея подобие друидской рощи.

Мне было по барабану, что Ленин якобы ненастоящий, – это же инсталляция! Здесь не о подлинности идет речь, а о схеме. О великолепной аскезе, в которой магическая схема содержит себя. Так я полюбил Ленина за его беспробудный сон, а вскорости схожей любовью полюбил и Мону Лизу, знаменитую усмехающуюся даму со сложенными руками, европейскую тень Будды – ее привезли в Пушкинский музей, и она тоже пребывала в подобии стеклянного гроба, и возле нее тоже нельзя было остановиться. Как в мавзолее, толпа текла непрерывным ручейком, и лишь повернув лицо вбок, можно было на ходу увидеть туманный улыбчивый образ. Впрочем, более всего гипнотизировал ландшафт, что проступал за спиной дамы: укромная местность синих гор и извивающихся рек. И тут я снова со сладостной болью вспомнил про обрыв за гороховым полем. Оставаясь живым, увидеть краем глаза тот край блаженных, тот ландшафт отсутствия, который набоковский персонаж называл «страна за пленой».

Не помню, как мы шли на эти трансцендентные экскурсии, – должно быть, классическим детсадовским строем, взявшись за руки. Девочки в плисовых платьях, мальчишки в коротких штаниках. Кто-то, должно быть, шалил или плевался друг в друга, как водится. Не помню лиц своих сорат-

ников по раннему детству, а вот лица Ленина и Джоконды мне запомнились.

По рассказам моих родителей, первым моим словом было слово «кан», что означало «карандаш». Причем не любой карандаш, а конкретный огромный карандаш, чья белоснежная лакированная поверхность была покрыта разноцветными мраморными разводами. Я требовал этот карандаш, настойчиво протягивая младенческую пятерню сквозь деревянные прутья своего «загончика», – этот магический инструмент нужен был мне для рисования на стенах. Та часть стены, что примыкала к загончику, быстро оказалась покрыта наскальными изображениями людей-солнц и сияющих колобков – буйно нарисованные круги с расходящимися от них лучами, внутри кругов угадываются небрежные черты условных лиц: так называемые головоногие, которых любят изображать все необузданные малыши, считающие, что мир населен солярными богами, чьи руки, ноги и волосы – всего лишь лучи.

Когда места на обоях не осталось, мне стали давать бумагу и акварель. Их я полюбил дикой любовью, которая меня и до сих пор не покинула. Особенно пленяют меня большие бумажные листы, тяготеющие к сворачиванию. Образ рулона и свитка ласкал мой мозг, как впоследствии вид ракушек и мебельных завитков: все спиралевидное всегда внушало мне бешеный восторг. Стоит заметить, что мое мла-

денчество следовало за периодом, когда в нашей стране была объявлена так называемая борьба с архитектурными излишествами – всплеск модернистской битвы с завитками. Везде сбивали их, крушили, истребляли, дабы придать предметам и зданиям лаконичную и аскетичную простоту. Знай я в детстве об этом, наверное, посчитал бы и себя реинкарнацией одного из этих уничтоженных завитков.

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.

Так написал поэт того времени, примыкая к доминирующему тогда тренду, но я-то в младенчестве не терпел прямых углов, и хотя нынче я рисую супремы, но обожаю круги и овалы, а еще более – спираль. Я бессознательно требовал от жизни, чтобы каждый угол и каждый уголок закручивались в завиток, как то имеет место в море и в мозгу, как то имеет место вообще в природе. Родившись в мире позднего модернизма и принципиальной простоты, я жаждал излишеств и украшений, я жаждал беспринципности и биоморфизма: не сомневаюсь, что этого жаждут все младенцы, эти пухлые агенты барокко и рококо, – тех стилевых образований, что поместили в центр своей эстетики румяного путто, прислушивающегося к морским раковинам. Я был толстым и в меру румяным путто до того дня, когда у моей мамы закончилось молоко. За этим последовало жестокое отравление до-

норским молоком (с тех пор я не пью молоко). Я оказался в больнице для грудников, где меня простудили, после чего вплоть до начальных классов школы непрерывно болел, доставляя моим родителям множество мучений своей чахлостью и высокими температурами.

Впоследствии выяснилось, что мои тело и душа просто ждали встречи с морем. В семь лет меня впервые отвезли в Крым, и вдруг я сделался здоровым и неожиданно разбитным. Относительно бодрого словечка «разбитной» сразу же приходит в голову, что это слово является антонимом слова «разбитый», хотя звучит подозрительно сходно.

Мой папа в конце 70-х годов написал автобиографию под названием «Автопортрет в разбитом зеркале» – иногда приходило мне в голову, что если бы я взялся писать автобиографию, то назвал бы ее «Разбитное зеркало». Несколько раз я употреблял словосочетание «разбитное зеркало» в прозаических или же теоретических текстах, но все, кто эти тексты затем перепечатывал или набирал, неизменно заменяли на «разбитое».

Мне было лет пять, когда я увидел в нашей комнате длинное зеркало без рамы, лежащее на кровати. Возможно, его только что купили и еще не успели повесить или же решили переместить с одной стены на другую и ненадолго уложили на кровать. Это длинное зеркало, лежащее на кровати, как человек, чем-то меня очаровало и сподвигло на странный поступок: мне неудержимо захотелось станцевать на зеркале.

Голый, я вскочил на зеркало и стал исполнять загадочный экстатический танец. Зеркало превратилось в осколки под моими танцующими ногами. Удивительным образом я не поранился, ни одной царапины на пятках, но разбитое зеркало сочли дурной приметой. Ничего скверного, кажется, не произошло. Станцевать голым на зеркале – что может быть нарциссичнее? Но скорее это был антинарциссический акт, ведь я уничтожил отражение, растоптал его в пляске – я сам, видно, желал стать зеркалом, стать невидимкой.

Мои родители взошли надо мной двумя солнцами, ярко освещающими безмолвную планету моего детства. Я был ребенком, влюбленным в своих родителей. При этом я почти не мог обнаружить границу между ними и собой: мне казалось, что я целиком состою из того света, который они излучают, и там, где обрывались или же иссякали их лучи, там обрывалось и исчезало мое сознание. Они сияли настолько ярко и сильно, что в раннем детстве я почти не мог их увидеть, не в силах был их рассмотреть, как нельзя увидеть солнце (скрывающееся в недрах собственного света), как нельзя увидеть свое собственное лицо.





Я мог рассмотреть прозрачный стакан чая с лимонным колесом внутри, мог лицезреть аморфного медведя с карими стеклянными глазами, я мог подробно разглядеть обойную бумагу на стене, исчирканную моей тогда еще нетерпеливой рукой, видел синее небо за окном и молодое дерево, посаженное папой в ходе коммунистического субботника, но когда я переводил свой взгляд на лица своих родителей – тогда мой взгляд растворялся в любовном свечении. Только теперь, глядя на фотографии, я вижу, какими они были тогда: прекрасными, молодыми, счастливыми.

Вот моя мама в мягкой клетчатой рубашке сидит за сто-

лом и задумчиво смотрит в сторону окна. На стене висит рисунок тети Лизы – безумной сестры моей бабушки, – изображающий рождение Венеры: голая девушка в небе, окруженная салютами победы и воздушными шариками.

Вот мама держит зеркальный елочный шарик, в нем можно разглядеть отражение нашей комнаты и папу с фотоаппаратом. Вот папа рисует, сидя за столом: сосредоточенный, возвышенный, – а мама читает. Я еще не родился. Но я уже с ними. Мама беременна мной. На стене гравюра восемнадцатого века: дворец, улица, кареты. До сих пор обожаю гравюры.

В те мои младенческие годы мы жили в месте, называемом «Молодежная». Название, подходящее как моему тогдашнему возрасту, так и возрасту моих родителей. Горизонт в тех местах украшали три трубы – большие, загадочные. Три – тру.

У моей мамы были ранние стихи про штаны, унесенные ветром с балкона.

Они над городом летели —
Две трубы одного дымохода.
Была прекрасная погода!

Итак, я не мог рассмотреть своих родителей, ослепленный их блаженным светом, их ласковым сиянием. Кажется, первым человеком, которого мне удалось лицезреть во всех подробностях, вплоть до почти микроскопических деталей,

стал мой дедушка Моисей Павлович Шимес, худощавый и замкнутый медицинский специалист, чья молодость прошла в туманном Лондоне. Мне было семь лет, когда мой дедушка умер, но я до сих пор помню его тонкие и подвижные запястья, его узкие губы (то саркастические, то печальные), его очки с выпуклыми стеклами, его перламутровые запонки и твердые белоснежные рубашки, излучающие запах крахмала, его свежие газеты – дедушка любил это словосочетание: «свежие газеты», и газеты действительно были свежи, потому что дедушка приносил их с мороза. И вдруг дедушка исчез. Мне сказали, что он уехал в Германию. На самом деле он умер в одночасье, упав на ступени своего медицинского института. Взрослые не решились мне об этом сообщить. Я поверил в то, что дедушка отправился в Германию, – это казалось таким естественным, его всегда окружали немецкие и английские книги, нередко напечатанные готическим шрифтом (особенно помню томик стихов Генриха Гейне, переплетенный в замшу). Дедушка пытался научить меня немецкому языку, но я был ленив и уклонился от обучения.

Сколько раз снился мне обрыв за гороховым полем – не ведаю. В одном из сновидений я оказался стоящим на этом обрыве рядом с дедушкой. Заходящее солнце пылало в стеклах его очков. На самом деле он был тогда уже мертв, но я об этом не знал.

– Что там? – спросил я его, указывая вперед, туда, где простиралась непостижимая зеленая местность.

– Там Германия, – ответил дедушка без улыбки.

Глава вторая

Встреча в горах с кретином

Вопрос «Как я стал художником?» предполагает, как мне кажется, что отвечать на него будут коротким и надолго запоминающимся рассказом, некоей легендой, включающей в себя емкий и впечатляющий образ. Речь пойдет, разумеется, о моменте – о моментальном импульсе, о приключении, о странном совпадении обстоятельств, о многозначительной «шутке судьбы», или «ужимке рока», или же, наконец, об откровении, о всё изменяющем переживании, испытанном наяву или во сне.

Моя память тут же подносит мне «на блюде» множество таких легенд, услышанных или прочитанных. Мой папа, например, обладает замечательной историей о приятеле детства, который как-то раз открыл перед ним шкаф, и в шкафу висела картина. Это открытие сделало его художником. Кабаков обладает не менее замечательной историей, и тоже о детском приятеле, который как-то раз (дело было в детстве, в эвакуации, в Самарканде) спросил его, не хочет ли он посмотреть на голых женщин. Кабаков, естественно, захотел посмотреть на голых женщин. Приятель повел его куда-то, они перелезли через забор, затем влезли в окно како-

го-то здания. Там был коридор, увешанный, действительно, изображениями голых женщин. Пока они смотрели, неожиданно появился некий человек. Они замерли в ужасе, ожидая страшного наказания, но тот, умиленно улыбаясь, спросил: «Что, мальчики, пришли записываться в нашу изостудию?» Так Кабаков стал художником. Сережа Ануфриев, в свою очередь, обладает историей про то, как его, только что родившегося, принесли домой из роддома. Его папа-художник в это время стоял за мольбертом и писал картину. Когда к нему поднесли новорожденного сына, папа, даже не взглянув на «беби», механически вытер о пеленки младенца кисть и продолжал работу. Таким образом (так, видимо, надо понимать эту легенду) в Сережу с младенчества проникла «зараза искусства», и он стал художником. Василий Кандинский утверждал, что ощутил свое предназначение стать художником благодаря следующему сну, привидевшемуся ему в возрасте пяти-семи лет. Он входит в комнату и видит, что там, где всегда стоял буфет, буфета нет. Затем воздух в этом месте начинает сгущаться, и постепенно буфет вновь возникает, воплощается на глазах, и в конце концов буфет «стоит такой же плотный и твердый, как всегда». К описанию этого сна Кандинский прибавил: «С тех пор я больше не верю в неизбежность материи и даже в состоянии бодрствования не удивился бы растворению какого-либо предмета».

Но самая излюбленная мной история (из этого типа ле-

генд) – это история Ивана Бунина о том, как он стал поэтом. В детстве Бунин рассматривал какую-то книжку и вдруг увидел в этой книжке картинку-иллюстрацию, которая привела его в состояние глубочайшего «инсайта»: он испытал леденящее ощущение странности, и это ощущение и превратило его в поэта. На картинке были изображены высокие горы (Швейцарские Альпы). На краю глубокой расщелины стоял человек в костюме для горных прогулок с альпенштоком в руках. Он пристально смотрел на горный склон по другую сторону пропасти. Там, по другую сторону, виднелась на картинке фигурка некоего «зобатого карлика» в коротких штанишках («зобатого карлика», то есть «карлика с зобом»). Подпись под картинкой гласила: «Встреча в горах с кретином». Бунин, будучи маленьким мальчиком, не знал тогда такого слова – «кретин». И почему-то и это слово, и эта подпись, и эта картинка, и всё вместе, в совокупности, – всё это произвело на него потрясающее впечатление – впечатление глубочайшей, отчаянной, неразрешимой тайны. Так он стал поэтом.

Я должен признаться, что у меня лично нет никакой подобной легенды. И я не припоминаю ничего, что могло бы послужить материалом для ее формирования. Правдивее всего, наверное, было бы сказать, что я стал художником потому только, что так получилось само собой. Любовь к родителям провоцировала во мне стремление соучаствовать в их

делах (то есть в делах искусства и литературы). Впрочем, я также помню, как в возрасте лет десяти испытал вдруг сильное желание стать философом. Причиной был сон, в котором я обнаружил, что являюсь автором огромного философского сочинения о пиве. Во сне я держал в руках большую толстую книгу (в солидном твердом переплете), листал ее и даже пытался прочесть какие-то фрагменты текста, но текст был настолько сложен и насыщен специальной философской терминологией, что я ничего не понимал. Тем не менее во сне меня охватила эйфория: я чувствовал, что в этой книге содержится нечто очень ценное, и я был несказанно горд тем, что создал ее. Проснувшись, я сразу же направился к книжному шкафу, вынул том Канта, стоявший на нижней полке, и стал читать (прежде мне никогда не приходило в голову читать такого рода сочинения). До этого сна я лишь несколько раз и понемногу (по причине детского возраста) пробовал пиво, но его горький вкус сразу же произвел на меня сильное впечатление. Можно, конечно, проанализировать этот сон и легко прийти к выводу, что во сне я написал трактат о себе самом, ведь фамилия моя – Пивоваров, и в школе, где я тогда учился, сотоварищи, естественно, называли меня просто Пиво. Но более важным сейчас представляется мне то обстоятельство, что во сне я пытался читать собственный текст и не понимал его. Нечто подобное, видимо, испытывал и Бунин, когда смотрел на «Встречу в горах с кретином». Он читал слово «кретин» и не понимал его. Тем самым, не пони-

мая значения слова «кретин», он приобщался к свойствам самого кретина, к ресурсам непонимания, дефекта, искажения, к неисчислимым энергетическим ресурсам монструозности, ошибки, отстраненности – то есть, говоря возвышенно, к гипнотическим и инспирирующим свойствам «иноного». Путник с альпенштоком, изображенный на картинке, видит кретина как кретина. Но в качестве кого видит кретин путника? В качестве монстра? Или вообще, как говорят, «видит, но не замечает»? Бунин видит кретина не как кретина, а как «непонятно что»: в кретине он угадывает самого себя, непонимающего.

Художество (фантазм) рождается из непонимания. Или, чаще, из недопонимания.

Всё же по некотором размышлении я склонен отвергнуть нарциссическую интерпретацию сна о философском трактате. Как я думаю теперь, философский трактат, предъявленный мне сном, был посвящен вовсе не мне самому, а действительно пиву – предмету гораздо более глобальному и заслуживающему внимания. Из всех напитков, воздействующих на сознание, пиво ближе всего располагается к морской воде: оно обладает пеной, горечью и привкусом изначальности, которые позволяют ему иногда (особенно если пиво пьют у моря) пробуждать в своих потребителях то знаменитое «океаническое чувство», которое Фрейд не смог обна-

ружить в себе и которому он (вследствие этого необнаружения) отказал в праве считаться источником религиозности. По всей видимости, Фрейд не очень любил пиво. Он предпочитал кокаин – препарат, отнюдь не способствующий пробуждению океанического чувства. Стоит горько пожалеть о том, что Фрейд не был знаком с препаратами, не столь общедоступными, как пиво, но зато гарантирующими целые океаны океанических ощущений.

Глава третья

Переживание на пеньке

Мне было семь лет, когда закончилась целая эпоха моей жизни и началась следующая. Этот переломный момент отмечен захватывающим переживанием, которое я всегда склонен был внутренне обозначать как «переживание на пеньке». Случилось это в августе. Мы жили на даче в Челюскинской, и почти каждый день я устраивал крапивно-малиновые битвы-пиры. Как всякий ребенок мужского пола, я любил играть в войну. Иногда, если подворачивались дети, случались групповые игры, но я в них не нуждался, я мог играть и один. На даче я нашел странную костяную палку, которая, видимо, была остатком какой-то трофейной немецкой трости. Во всяком случае, на палке имелось клеймо с загадочной эмблемкой и с немецкими словами, написанными готическим шрифтом, которые были закольцованы в кружок. Эта палка была еще и трубкой, в нее можно было смотреть, как в некую подзорную трубу, созерцая мистический туннель и далекое круглое окошко в конце туннеля. В круглом окошке челюскинские сосны качали своими ветвями и вспыхивали бликами дачные веранды. Эта палка-труба хорошо ложилась в ладонь и годилась на роль меча. Я врубался в крапивную заросль, представляя себе, что это полчища врагов. Я впадал

в боевое буйство, свойственное истинному воину, прорубая себе дорогу к малиннику, чтобы сладострастно нажраться малины. Малина служила вознаграждением за победу в битве. Могу признаться, что битва доставляла не меньшее наслаждение, чем вознаграждение. Я прорубался сквозь красивые ряды в глубоком галлюцинозе, мне казалось, что я прорубаюсь сквозь полчища врагов, и затем я проваливался в миры вознаграждения, в малинник, где начиналась дикая оргия объедания малиной. Малины было много, она была роскошная, сладкая. Я горстями отправлял ее себе в рот, размазывая малинный сок по ликующему лицу.

Как-то раз, предаваясь этим необузданным наслаждениям в прекрасный погожий день, пропитанный нежнейшим медовым солнечным светом, я обнаружил в гуще малинника пенек. Чувствуя себя триумфатором, победителем невидимых полчищ, объедателем космических малинников, я торжественно взгромоздился на этот пенек с лицом, обмазанным малиновым соком, сжимая в руках трофейную костяную немецкую палку, которая была мечом и подзорной трубой одновременно. В этот момент меня нахлобучило состоянием чрезмерного, немислимого, зубодробительного счастья. Я понял: это – всё, мне остается только одно – умереть. Никакого другого выхода из настолько прекрасного состояния я просто не находил. Я осознал свою жизнь до этого момента как абсолютно совершенную и счастливую. Миг, в ко-

тором я находился, я осознавал как апогей, как абсолютный триумф, как идеальное завершение идеальной жизни. Я понял, что если я в этот момент не умру, то дальше идеал нарушится. Если я останусь жить, то всё это не сможет быть в дальнейшем настолько потрясающим. Энергия одобрения и восторга, которую вызывала во мне моя собственная жизнь, может рассеяться, появятся какие-то дефекты в этом сияющем полотне.

Я пришел к выводу, что надо немедленно умереть, чтобы этот момент стал роскошнейшим последним моментом идеального существования. И тут же обозначился серьезный вопрос: а как же это, собственно говоря, сделать? Я бросил растерянный взгляд на палку, но она явно не подходила в качестве орудия самоубийства. Мысленно я стал прикидывать, можно ли себя этой палкой убить. Через какое-то время, довольно недолгое, я понял, что это невозможно. Никакие усилия фантазии не подсказывали мне, как же применить эту палку. Пенек явно был недостаточно высок, чтобы при падении с него можно было умереть – максимум слегка удариться лбом о корень сосны. Я стал смотреть на окружающие меня сосны, нельзя ли на них забраться и упасть, но и это казалось невозможным. Сосны были слишком высокие, и ветки на них начинались очень высоко, забраться на них было нельзя. Ели обладали гибкими и ненадежными ветвями, по которым тоже невозможно взобраться достаточно высоко. Никаких подходящих деревьев вокруг не было.

Я нашел взглядом забор, но и он не подходил для смерти. В реальности, которая меня окружала, я с невероятным изумлением обнаружил полную нехватку подходящих для смерти инструментов. Что же делать? Я посмотрел на крышу дачи, прикинул, как туда залезть, – упасть, что ли, с нее? Но и там было недостаточно высоко, я бы не умер. Я посмотрел на бочку с дождевой водой, представил себе, как я утоплюсь в бочке. Но это тоже вызвало сомнения. Бочка явно была недостаточно большой, и я засомневался, смогу ли в ней утопиться. Потом я стал в целом сомневаться в этом намерении как таковом. Видимо, эйфория в процессе этих странных поисков стала сходить на нет. Одновременно с эйфорией исчезало и желание немедленной смерти. Более трезвые мысли стали приходить мне в голову: родители ведь расстроятся, – подумал я. Что же я, такая сука и скотина, не подумал о родителях? Я вообще засомневался в этом переживании на пеньке. Я слез с пенька и бросил на него подозрительный взгляд, подумав, что это, может быть, какой-то зачарованный пенек.

Я вспомнил, что в моей жизни было много страданий, болезней, больниц. Пока я стоял на пеньке, я об этом совершенно не помнил. Не думал, что могут расстроиться родители. Тут я заинтересовался самим пеньком. Я снова взгромоздился на него и попытался вызвать то состояние, которое только что испытал. Но состояние не приходило. Мне казалось, что я стою на обычном пеньке, ничего особенного

не испытываю. К тому же легкая тучка скрыла солнце. Исчез эффект эйфорического светового потока, который играл важную роль в возникновении внезапной вспышки эйфорического бреда. Исчез медовый свет, приводящий ум в глубочайшее замешательство счастливого типа. В какой-то момент я благополучно успокоился и пошел домой пить чай. На следующее утро, проснувшись, я поехал кататься на велике. Вернувшись на дачу, я увидел, что освещение очень напоминает предыдущий день. Я схватил немецкую палку, взгромоздился на пенек и опять отловил это переживание. Снова меня накрыло невероятным счастьем. И снова мне захотелось немедленно умереть.

Я подумал, что если встать на этот пенек при определенных условиях, при определенном свете, определенным образом проведя предшествующее время, то есть подготовив себя неким способом, то будет отлавливаться это переживание. И я стал это практиковать. Я понимал, что надо выполнить несколько условий. Во-первых, я не должен быть сытым, это важный момент. Нужно быть неотягощенным едой (малина не в счет). Следовало перед этим активно и довольно долго двигаться. Либо поездка на велосипеде, либо битва с крапивой: двигательная растормаживающая практика должна предшествовать переживанию на пенке. Требовалось, чтобы освещение соответствовало: благостный солнечный свет, самое начало заката, когда солнце уже уходит из зенита, склоняется к западу.

Лет пять я одиноко развлекался в поисках подобных переживаний, прежде чем назвать это Практикой Закрытого Действия. Чтобы данный аттракцион работал, о нем никто не должен был знать. Это была абсолютная тайна. Потом в какой-то момент я снова еду на велике, решил немного отдохнуть, слез с велика, стою возле какой-то стены то ли кирпичного, то ли бетонного строения и вижу написанное довольно крупными буквами слово ПИЗДА. И тут я понимаю, что Практика Закрытого Действия (ПЗД) это ПИЗДА. Если я буду писать слово «пизда» без гласных, как того требуют древнееврейские правила или правила иконописи, то получится ПЗД, то есть Практика Закрытого Действия.

В разные годы я пытался найти аналоги этим переживаниям. Это всегда было связано с псевдосуицидом. В какой-то момент в рамках этой Практики Закрытого Действия придумалось, что каждый раз, когда я что-то заканчиваю (например, писал стихотворение и закончил его, рисовал рисунок и дорисовывал его), это событие должно быть отмечено инсценировкой символической смерти. Я придумывал различные ритуалы. Например, ставил перед собой стакан с водой, садился напротив этого стакана и начинал убеждать себя в том, что в воде растворен яд. Я сидел и медитировал на этот стакан, пока, как мне казалось, не начинал в это верить. После этого я просто выпивал этот стакан с водой и разыгрывал агонию. В этой агонии каждый раз должны были появляться

какие-то новые трюки и номера, некие инновации должны были присутствовать.

Таким образом я развлекался. Это были одинокие игры, пока я не нашел для них идеального партнера. В какой-то момент игры перестали быть одинокими. Уже прошло несколько лет, мне уже было не семь, а десять или одиннадцать, и тут судьба послала мне идеального человека. Им оказался мой отчим Игорь Ричардович Яворский. В какой-то момент мама вышла замуж, появился в нашей жизни очень необычный человек. Человек, необычайный во многих отношениях. У Игоря Ричардовича весьма странные глаза: выпуклые желто-янтарного цвета очи. Я сразу почувствовал, что он наделен разветвленными телепатическими талантами, общаться с ним можно не только словесно, но и на уровне невысказанных мыслей. Эти его способности мне особенно нравились. Мы с ним сдруживались всё больше и больше, хотя человек он сложный, характер у него непростой.

Игорь очень украсил мою жизнь. Во-первых, он стал рассказывать мне невероятные истории перед сном, с продолжением, которые мне дико нравились. Он идеально владел переливами, мерцаниями между чем-то очень жутким и страшным, переходящим во что-то невероятно райское, уютное и прекрасное, затем снова переходящее во что-то жуткое и страшное. И так до бесконечности. Я помню, например, начало одной из его историй. Героем всегда был мальчик мо-

его возраста. Мальчик по имени Зельпух видит ворота сада, какое-то имение, он заходит, видит сад невероятной красоты. Сногшибательно поразительный сад. Он чувствует, что никогда за всю его жизнь он не бывал в таком восхитительном саду, где каждая тень, отбрасываемая каждым деревом, выглядит совершенно потрясающе. Уровень прохлады и напоенности воздуха ароматами цветов и растений – идеальный. Видовые просветы между деревьями, качество аллей, степень разрушенности фонтанов, полуразрушенность статуй – всё абсолютно соответствует самым сокровенным эстетическим потребностям данного мальчика. В глубокой захваченности красотой этого сада, блаженством этого места, мальчик бродит и вдруг слышит странное техническое поскрипывание. Из-за поворота аллеи выезжает пустое инвалидное кресло, которое едет само, слегка издавая ржавый металлический стон... Это было начало длинного повествования, где эта волнообразная структура постоянно сохранялась. Апогей блаженства, уюта, потом начинается слайдинг во что-то ужасное, чудовищно-зловещее, потом снова пик блаженства и уюта. Я был фанатом этих историй.

В частности, меня вдохновлял рассказ Игоря о том, как над ним издевался его старший брат Рома. Игорь очень ностальгический тип. Вырос он в городе Тбилиси. Я никогда не бывал в этом городе, но через общение с отчимом в мое сознание проникла атмосфера этих грузинских дворишков времени его детства, запах механической мастерской его отца

Ричарда Яворского, наполовину немца, наполовину поляка, который коллекционировал старинные механизмы, микроскопы, собирал велосипеды необычайных конструкций.

Старший брат Игоря Рома каждый раз, когда родителям надо было куда-нибудь отлучиться, начинал изощренные, неторопливые, многоступенчатые пугания. Квартира у них была большая. Вечерами, когда они оставались одни, она казалась Игорю зловещей. И вдруг Рома исчезал. Маленький Игорь бродил по квартире и звал своим тоненьким голоском: «Рома! Рома! Рома!» – но никто не откликнулся. Игорь бродил, начиная бояться и пугаться всё больше. Вдруг где-то в простенке между шкафом и дверным косяком он видел прижавшегося к стене абсолютно неподвижного Рому, стоящего там с очень странным выражением лица. Игорь бросился к нему с криком «Рома!» – на что следовал ответ: «*Я не Рома*», – произносимый очень сладким, зловещим и приторно-замогильным голосом. Это было началом гигантской многоступенчатой феерии ужаса, которую бережно готовил для своего младшего брата Ромуальд Ричардович Яворский.

Выслушав этот рассказ, я был вдохновлен и немедленно потребовал, чтобы со мной регулярно проделывалось то же самое или что-то в этом духе. Игорь поймал этот импульс и очень виртуозно всё осуществлял. Когда мы с ним оставались вдвоем, он, для начала что-то поделав в своей комнате, бывшей моей, входил в комнату, где сидел я, и как-то

очень интеллигентно произносил: «Паша, если у тебя сейчас есть время, я хотел бы с тобой побеседовать». Всё это говорилось очень серьезно, вкрадчиво. Я говорил: «Ну конечно, дядя Игорь». (Я называл его дядя Игорь.) Игорь интеллигентно, педантично поправлял на столе какие-то предметы, чтобы они ровно, аккуратно стояли, и начинал такой разговор: «Знаешь, Паша, мы уже несколько лет живем в одной квартире, я являюсь мужем твоей мамы, и ты, наверное, думаешь, что ты меня хорошо знаешь?» Это был зачин. Уже сладкий холодок, какой-то озноб пробежал у меня по спине. Я уже предчувствовал и предвкушал продолжение. Надо ли говорить, что всё это заканчивалось чудовищным убийством меня? Я требовал разнообразия, чтобы меня душили, убивали ножом, отравляли. Но концовка всегда должна была быть одна и та же. Я старательно изображал агонию, в какой-то момент я умирал. Потом был обязательный момент, очень важный: Игорь должен был схватить меня и швырнуть мое детское дохлое тело через всю комнату туда, где в глубине стояла большая тахта. Я должен был пролететь через всю комнату и обрушиться на тахту. Это была концовка и завершение игры. Я не просто умирал, но и душа моя отправлялась в полет. Это был полет, освобождение души из-под власти тела, открытие новых посмертных роскошных миров. Надо ли говорить, что я обожал эти игры и очень расстраивался, когда Игорь был занят или просто не в настроении был всё это проделывать? Потом эти игры стали разветвляться,

уже и мама начала принимать в них участие, они стали еще более витиеватыми. Быстро сложился целый круг людей, совершенно опьяненных играми такого рода.

Наступил невероятный Период Игр. Андрей Монастырский и другие наши друзья из круга КД были оголтелыми игрунами. Мы постоянно играли в разное, в разных квартирах, под сенью разных лампочек и люстр. Была игра, которая у нас пользовалась большой популярностью. Игра называлась так: «Как давно, как давно я не была в этом доме!» Она заключалась в том, что из числа присутствующих выделялся какой-то один человек. Нужно, чтобы в квартире было несколько комнат. Все оставались в одной комнате, а избранный человек должен был выйти из нее и как-то так вернуться, чтобы всех охватило леденящее ощущение потустороннего присутствия. Каждый раз требовалось найти совершенно новый ход для того, чтобы навеять чувство жути оставшимся людям. Игра зародилась из фразы, которую произнесла одна девушка из-за двери совершенно замогильным голосом. Все сидели в комнате, и вдруг за дверью что-то загадочно скрипнуло, брякнуло, какой-то еще раздался звук, и потом девичий голос произнес с непередаваемыми интонациями: «Как давно, как давно я не была в этом доме...» Сразу же из одной фразы стало понятно: какой-то призрак семейный или что-то в этом духе. В одной фразе открылась целая анфилада жутких звучаний.

Еще была игра под названием «Кавалер целует руку дамы». Сценка такая: сидит некое светское общество, где обязательно должна присутствовать дама или девушка, но гонимась и девочка – короче говоря, существо женского пола, и некое другое существо, мужского пола, входит в комнату и галантно склоняется к протянутой ему руке как бы с целью ее поцеловать. Задача заключалась в том, чтобы в последний момент сделать что-то совершенно неожиданное и непредсказуемое. Очень быстро исчерпались все варианты кусания, сморкания, облизывания и другие сразу приходящие в голову вариации. Поэтому игра была очень сложная. Очень непросто было найти новый вариант какого-то неожиданного поведения в этой ситуации. Это одна из сложнейших игр, мне известных. Тем не менее все мы отважно и изобретательно играли в эту игру.

Задействовались также пионерлагерный и детсадовский опыт. Из этих миров пришла игра «в бабушку». Какая-нибудь девочка, или девушка, или женщина, желательно довольно нервная, приглашается на игру. Несколько человек ее встречают, в квартире приглушен свет, атмосфера скорбная. Ей сообщают, что бабушка очень плоха и, возможно, это последняя встреча с ней, поэтому вести себя надо очень осторожно. У бабушки странное состояние здоровья, врачи ей сказали, что надо лежать на полу. Говорилось это еще

до того, как девочку, девушку, женщину вводили в комнату. Бабушка не может говорить и выглядит она сейчас так себе, она не хочет показывать свое лицо. Говорить она уже не может, она может только кивать, отрицательно или положительно. Поэтому беседовать с ней надо таким образом, чтобы она могла отвечать либо «да», либо «нет», посредством кивков. Затем девушка или девочка вводилась в комнату, там горели свечи, свет погашен. Бабушка лежала на полу, полностью закутанная, ничего не видно, немного блестят очки на лице, голова вся замотана платком. Еще предупреждали, что важно как-то не задеть и не раздражить бабушку, потому что она сейчас уязвима, и, несмотря на ее плохое состояние, вспыльчива и может реагировать очень резко, а волноваться ей нельзя. Тем не менее с ней надо говорить довольно долго.

Человек женского пола попадал в комнату, освещенную свечами. Лежит бабушка на полу, выделяется ее голова, очень сильно закутанная, тело тоже закутанное, прочитываются очки, лицо рассмотреть невозможно, оно закрыто тканями. При этом стул, на котором сидит посетительница, поставлен таким образом, что ноги бабушки уходят под стул. Девушка или женщина начинает разговаривать с бабушкой, та кивает, иногда отрицательно, иногда положительно. В какой-то момент разговора девочка или девушка невольно допускает, видимо, бестактное замечание. Тут происходит нечто ужасное. Бабушка совершенно прямолинейным, быстрым, негнушимся движением всего тела вдруг встает, надви-

гаясь на девушку. Бабушка почти взлетает, словно мумия, восстающая из саркофага. В этот момент раздаётся пронзительный девичий визг. Делается всё просто. На полу лежит человек, голова которого находится под стулом, ноги дизайнируются в виде головы бабушки, кивки производятся движением ступней, а гнев бабушки изображается резким поднятием ног. Психология зрителя устроена таким образом, что догадаться об этом перевертыше невозможно. Ты веришь в структуру тела больной бабушки, а то движение, которое совершает восстающая бабушка, физиологически абсолютно немыслимое. Поэтому вам гарантирован острый девичий визг, ради которого и играется эта игра.

Хорошо, что я не поддался искушению наложить на себя руки. Хотя мне и показалось в момент переживания на пеньке, что моя жизнь до этого была абсолютно идеальной, но она, конечно, такой вовсе не была. Я много болел, лежал в больницах, испытывал много страданий, но после переживания на пеньке начался период, где-то с семи до четырнадцати лет, который оказался счастливым и блаженным. Самая кайфовая и сладостная часть детства началась как раз после переживания на пеньке. Это переживание явилось загадочным порталом. Прежде чем я вступил на эту блаженную территорию, я испытал странное искушение: искушение суицидом. Но я мужественно преодолел это искушение. Сквозь пелену аутичных детских фантазий пробивались уже какие-то более ответственные мысли: о родителях, о других людях.

Было при этом одно четкое интуитивное понимание, которое меня не обмануло. Оно говорило, что сейчас последний шанс сделать это, потому что я еще не боюсь смерти. Я понимал, что долго это не продлится, что скоро я узнаю, что такое страх смерти, и никогда уже умереть по доброй воле не смогу. Так и случилось. Через какое-то время страх смерти появился. Его появление совпадает с первыми признаками полового созревания, когда утренняя эрекция начинает нарушать идеальное блаженство детского сна, когда не понимаешь, что это за палка такая вдруг на твоём теле вырастает, твердая и большая. Я помню это состояние удивления, когда приподнимаешь одеяло, смотришь на себя, видишь совершенно детское тело и на нем вдруг стоит хуй. Зачем это? Еще совершенно непонятно, но ясно, что это не просто так. Единственное, что сразу же становится понятно, – это какая-то очень многозначительная трансформация, и эта трансформация меняет отношение к смерти. Этого свободного, открытого выхода без страха и упрека, без причины, этой возможности просто взять и сдохнуть легко, из чистой любознательности, – такого уже не будет.

Глава четвертая

Германия

Первый раз я посетил физическую Германию в 1985 году, будучи студентом в пражской Академии изящных искусств. Это была студенческая поездка в Дрезден: парочка преподавателей отправилась с нами, студентами, в этот город, чтобы показать нам большую выставку Пауля Клее, которая тогда проходила в музее Альбертинум.

По всей видимости, я мог придать этой поездке привкус поклонения тотему, так как мои родители часто говорили, что они назвали меня в честь Пауля Клее и Пабло Пикассо.

Выставка была интересной, работы Пауля Клее – прекрасными (эволюция от изощренной, извращенной монстрической черно-белой графики к простодушным детсадовским цветастым елочкам и квадратикам – впоследствии в качестве рисовальщика я проделал схожий путь), но не это поразило и обворожило меня.

Пучеглазый Клее вместе со всеми его монстрами, елочками и квадратиками мерк перед ужасом и неизбывной тоской того города, в котором я оказался: черные, словно бы обугленные руины саксонских дворцов и церквей торчали повсюду, окруженные социалистическими строениями 60–70-х годов, которые, хотя и были обитаемы, выглядели мерт-

вее руин. Даже те старинные здания, что уцелели после бомбежек (как, например, Альбертинум или Дрезденская галерея), казались заброшенными надгробиями, стынувшими под беспросветным небом.

Советские и восточногерманские военные ходили по улицам, перемещаясь по своим делам, причем из-за сходства восточногерманских униформ с униформами Третьего рейха казалось, что фашистская и советская армии внезапно помирились и совместно патрулируют этот скорбный немецкий город. Что же касается гражданского населения, то его (за исключением бодрой и разбитой молодежи) словно бы извлекли из шкафов, из гробов, из самых безутешных снов.

Немецкие коммунисты, еще находившиеся тогда у власти в Восточной Германии, хранили этот город как улику, как свидетельство чудовищного и бессмысленного преступления, совершенного во время войны англо-американскими силами. Бомбежка Дрездена авиацией западных союзников унесла больше жизней, чем Хиросима, причем жертвой стало мирное население. Англия и Америка превратили в обугленную пыль когда-то цветущую столицу Саксонии – так подростки сжигают дом своих предков, чтобы стереть родство: ведь именно в этих краях когда-то качалась колыбель англосаксов.

Говорят, после объединения Германии этот город вновь изменился: дворцы и церкви восстановлены, город вновь красив и весел, но я этого не видел – в последующие годы

меня ни разу не заносило в Дрезден, да я к этому и не стремился. Я и сейчас не поехал бы в этот город, чтобы новый его образ не вытеснил из моей души то воспоминание о первом визите в германские земли. В социалистическом Дрездене присутствовало, надо сказать, некое безутешное величие, здесь пахло коммунистической аскезой, суровой логикой идей, когда-то зародившихся в Германии, идей, к которым сам батюшка Лютер приложил свою мозолистую руку, не говоря уже о Мюнцере и Меланхтоне, а затем Маркс и Гитлер по-разному обыгрывали немецкий экономический принцип, пока он не оказался впитан и размыт славянским общинным духом.

Убраться восвояси из этого города было сладко: после Дрездена социалистическая Прага казалась уютной и вязанной на спицах, как варежка сельской колдуньи. В те годы я любил прозу Курта Воннегута – особенно «Колыбель для кошки», но читал и «Бойню номер пять», так что был подготовлен к трагическому восприятию Дрездена. Но его безутешность и угрюмость превзошли мои ожидания. Тем не менее чем-то эта экскурсия вдохновила меня – настолько, что по возвращении в Прагу я даже написал рассказ «Путешествие в Дрезден» – вполне реалистический рассказ, что странно, поскольку я всегда избегал написания реалистических рассказов. Видимо, тогдашний Дрезден и без домыслов был достаточно фантазмагоричен.

Я примкнул к этой студенческой экскурсии не ради ри-

сунков Клее, а ради того, чтобы взглянуть на одну картину, которая висела и сейчас висит в Дрезденской галерее. Речь идет о картине голландского художника семнадцатого века Якоба ван Рёйсдала «Еврейское кладбище». Я не принадлежу к распространенному меланхолическому типу обожателей кладбищ и их изображений, но копия этой картины в течение всего моего детства висела над моей кроватью. И до сих пор при слове «картина» я представляю себе именно эту копию, сделанную неизвестным немецким живописцем в середине девятнадцатого века. Часами, днями, месяцами и годами я бродил взглядом по этим роскошным и разрушенным могилам, всматривался в ручей-водопад, где явственно проступали черты человеческого лица, сложенные из темных камней, омываемых жемчужным потоком, фосфоресцирующим в полутьме, точно рыба чешуя. В этой картине, висевшей над моей кроватью, я постепенно обнаруживал множество странных фокусов и секретов: например, небо над кладбищем днем казалось грозным и дневным, а ночью – ночным, несмотря на половину радуги, которая висит в этом небе между свинцовыми тучами.

Дерево на первом плане вроде бы обладает роскошной темно-зеленой листвой, но через некоторое время обнаруживается, что это дерево – сухое и безлистное, однако прямо за ним прячется другое дерево, скрытое и живое, которое словно бы дарит древесному мертвецу свою крону (или корону). Жизнь прячется за спиной смерти. Арки

разрушенной синагоги, за которыми – пустота, теперь напоминают мне иконографию банкнот евро, которые украшены изображениями пустых оконных или арочных проемов, за которыми лишь гравированная пустота.

Дальний план этой картины демонстрирует пологие зеленые холмы, медленно уходящие в свинцовую тяжесть неба, и там, в отдалении, как бы уже во власти этих холмов, присутствуют две крошечные человеческие фигурки в черных одеяниях, которые поначалу почти невозможно усмотреть. У моей мамы есть стихотворение об этой картине:



Мама и я. 1968 год



Якоб Рёйсдал. Еврейское кладбище. 1657. Детройтский институт искусств

На гвозде висит картина
На гвозде висит грозное небо
На гвозде висит старое кладбище
На гвозде висят два монаха...

Приблизив лицо почти вплотную к холсту, я убеждался,

что это не два монаха, а мужчина и женщина – старик в черной шляпе, с седой бородой, а перед ним на коленях женщина в черном, одетая как католическая монашка; хотя ее лицо не имеет черт и сделано одним лишь прикосновением кончика кисти, всё же (например, с помощью увеличительного стекла) можно почувствовать, что она очень молода. Юная монахиня на коленях перед старым евреем – что это за сценка?

Итак, мне хотелось взглянуть на оригинал этой картины, поэтому я и поехал в Дрезден. Но гнетущая атмосфера этого города подействовала на меня таким образом, что я испытал глубокое разочарование, увидев оригинал: полотно показалось мне слишком большим и вялым в сравнении с той волшебной картиной, что висела у меня над кроватью. Так я навсегда избавился от мифа о неповторимой ауре оригинала – мифа, в который влил столько душевных сил Вальтер Беньямин. В книгах, на дешевых открытках или на каких-то дурацких календарях, висящих в сортирах, многие произведения искусства выглядят более свободными и роскошными, более манящими, чем когда видишь их в музеях, где они часто напоминают обнаженных мертвецов, а иногда – пленных животных, тоскующих в клетках зоопарка. Но есть исключения. Самые эйфорические переживания, связанные с созерцанием живописи в оригинале, я испытал во Флоренции, в галерее Уффици, глядя на две картины Боттичелли – «Рож-

дение Венеры» и «Весна». Там действительно посетило меня счастье.

Итак, слегка разочаровавшись в оригинале, я еще сильнее полюбил принадлежащую мне копию «Еврейского кладбища» и впоследствии, лежа на кровати под этой картиной, увидел множество снов, рассмотрел бесчисленное количество каскадных и многоступенчатых галлюцинаций, а также сливался воедино с прекрасными девушками, спал, болел, читал, принимал гостей – короче, жил полной и восхитительной жизнью, а полная и восхитительная жизнь в Москве эпохи моей юности протекала в основном в горизонтальном положении, это была жизнь вальяжная – жизнь диванная и ванная (диван в данном случае от слова *divine*, то есть божественный локус творца, почившего от дел своих). Я валялся всегда, пока страсть к девушкам, танцам и путешествиям не выплескивала меня из моей квартиры – по этому московскому аскетическому барству всегда я истово скучал, оказываясь на Западе, особенно в сухом протестантском мире, словно бы забывшем о том, что существует на свете истинное наслаждение. Но даже в поистине восторженных странствиях, в самых головокружительных скитаниях по краям в тысячу раз более обворожительным, чем германская пустыня, даже в отъявленных раях я неизменно скучал по своему божественному дивану, наморщившему брови своих бредовых пледов под хмурым небом, украшенным одинокой пасмурной радугой, напоминающей беспечную улыбку, безоснова-

тельно и похуистично вспыхнувшую среди печальных туч.

С собой в Дрезден я взял не «Бойню номер пять» и не «Историю британской военной авиации», но «Алису в Стране Чудес» – академическое издание с классическими иллюстрациями Джона Тенниела и обширными комментариями.

Я заслонялся от Германии, которая внезапно стала реальной, с помощью страны, в которой я еще не побывал, страны, которая давно ушла в прошлое: викторианская Англия, зеленые лужайки, белые шляпки, старинные политические карикатуры из «Панча», шуточки, девочки, рыцари, угрюмо взирающие в стеклянные глаза фламинго. Игральные карты, безумные чаепития... Всё это помогло мне прожить сутки в безвоздушном Дрездене, и я при первой же возможности утыкался в свою книгу в течение короткого путешествия, но уже в поезде, когда мы только пересекли чешско-германскую границу, я почувствовал в мохнатых горах, тянущих к поезду свои бурые лапы, в темно-коричневых зданиях и поленницах присутствие иных сказок и сказаний, более древних и зловещих, чем те, что сочинял на досуге великолепный педофил из Оксфорда.

Но мне было восемнадцать лет, и я мечтал не о тайнах германского леса, а о девочках, об Алисе, невинной и развратной, о девочке обворожительной и смешливой, с которой я мог бы играть в шахматы и предаваться другим радостным играм во всех возможных мирах, включая миры секса и хохота.

Эротическая озабоченность – лучшая защита от враждебной магии. Но я понимал, что святые девочки, гибкие эпицентры моих сказочных снов, не встретятся мне в гиблом Дрездене – таких девочек следует встречать в соленом Крыму, в Москве и веселом Подмосковье, в Петербурге и на берегах Финского залива, реже – в Париже и Италии, а из германских земель – в Берлине. Конечно же в Берлине.

Следующим моим путешествием в Германию стало путешествие в Западный Берлин. Это случилось осенью 1988 года, за год до падения Берлинской стены, и, кажется, никто (и я в том числе) не предчувствовал этого события в столь близком будущем. Я рад, что мне удалось пожить немного в загадочном островном государстве в последние месяцы его существования. Остров, окруженный сушей. Город, рассеянный пополам двумя системами. Экзотичнейшее местечко тогдашней Европы.

Я приехал из Праги на поезде, в котором почему-то не нашлось того купе и даже того вагона, который значился в моем билете. Поэтому всю дорогу я бродил по тамбуру, глядя на проносящиеся ландшафты (и снова бурые немецкие леса бормотали мне что-то о своих заповедных и кошмарных тайнах: деревья теснились, словно братья Гримм, загримированные бурой медвежьей хвоей). Я немного прогулялся по Восточному Берлину, почти столь же угрюмому, как Дрезден.

Пограничный переход осуществлялся на мистической станции наземки – Фридрихштрассе. Атмосфера на погранпункте отчаянно напоминала любимые фильмы о войне: восточногерманские патрули с овчарками, в фашистских касках и мундирах с черными воротниками, на которых рунические буквы SS были заменены масонским циркулем. Офицер, похожий на изваяние, минут пятнадцать созерцал мой паспорт неподвижным и меланхолическим взором, после чего я вступил в западный мир.

На закордонной половине станции Фридрихштрассе во множестве валялись бомжи и бродяги, зависшие в этом шлюзе между мирами и влекущие там свое странное межмирное щелевое существование. Я сел в поезд наземки и в нем проехал сквозь два уровня Стены – Стена была двойная, в простенке разъезжали восточногерманские мотоциклисты в фашистских шлемах.

Первое, что я увидел на другой стороне, был гигантский и не лишенный юмора баннер, рекламирующий сигареты West. На нем сценка: к постной католической монашке склоняется мужчина-плейбой в белом костюме с загорелым весело-развратным лицом. Улыбаясь, он протягивает ей пачку сигарет West с одной выдвинутой вперед сигаретой. Огромная надпись под огромным фотоизображением призывала: TEST THE WEST.

Расположение баннера сразу за Стеной (чтобы его могли немедленно увидеть все пассажиры наземки, только что пре-

одолевшие мистическую границу между мирами) поражало игривостью.

Запад рекламировал себя в качестве соблазнителя или искусителя, а социалистический Восток оказывался монашской, переполненной подавленными желаниями. Выражение лица монашки не позволяло сомневаться, что она поддастся на все соблазны, исходящие от плейбоя в белом. Баннер не ошибся. Итак, мне тоже предстояло попробовать Запад.

Заранее скажу: он оказался на поверку в тысячу раз более постным, дидактичным и аскетичным, чем наш веселый восточный монастырь. Запад не соблазнитель, он, скорее, хищный воспитатель, соблюдающий свои корыстные и пронырливые интересы.

Жить в Берлине мне предстояло у одного зубного врача, человека чрезвычайно авантюрного, с которым мой папа дружил в раннем детстве. Высокий и тощий еврей, наделенный огромными пылающими глазами, скакал от одной головокружительной аферы к другой, словно прыгал с зуба на зуб во рту гиганта. В аккуратной квартире в Шарлоттенбурге он встретил меня сердечно и нервно, угостил твердыми сырами, укрепляющими зубную эмаль, и тут же повел на экскурсию в огромный супермаркет KDW. Ему почему-то казалось, что я, как новоприбывший из стран товарного дефицита, должен впасть в восторженный столбняк от западного изобилия. Но мне было насрать на разнообразие товаров,

никаких консюмеристских желаний и мечтаний я не имел, поэтому вежливо томился. Дантист-кузнечик был, кажется, разочарован моей тусклой реакцией и тут же уехал в Париж по делам – он постоянно манипулировал кредитами французских и немецких банков, пытаясь обогатиться по сложной схеме, напоминающей рулеточный психоз Достоевского.

На прощание он торжественно вручил мне ключ от своей квартиры, сопроводив это несколько устрещающими словами, что, мол, этот ключ – уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире, и я ни в коем случае не должен его потерять.

Глаза его при этом пылали таким отчаянным жидким огнем, что я не на шутку испугался ответственности, но тем не менее принял этот загадочный ключ в форме металлического цилиндра с тончайшими выступами и насечками.

Оставшись в одиночестве, я направился на прогулку, посетил музей античного искусства, где меня особенно привлекали залы, посвященные Древнему Египту. В детстве я бредил Древним Египтом и жадно прочитал целую полку книг на эту тему. Но теперь, в Западном Берлине, древнеегипетские артефакты не произвели на меня ожидаемого впечатления, я бродил по залам, как тухлый призрак, не понимая, зачем я вообще здесь оказался.

Затем я вышел из музея и сел на лавочку напротив шарлоттенбургского замка – и тут с бледного берлинского неба на меня свалилась такая невыносимая, разрывающая душу тоска, что я до сих пор удивляюсь, почему на месте моей ла-

вочки не осталась воронка, как от падения бомбы. Но я продолжал сидеть на лавочке, уперевшись взглядом в шарлоттенбургский замок, – вообще-то я обожаю дворцы и замки, но сейчас мне было не до них.

Я извлек из кармана бело-синюю коробочку с антидепрессантами – швейцарский препарат под названием Ludiomil (я склонен был переводить это название приблизительно как «человеколюбие»), выдвинул серебряную пластинку с маленькими белыми таблетками, мирно спящими в своих ячейках, в прозрачных пластиковых саркофагах. Хотел было выдавить одну таблетку и проглотить, но нечто остановило меня. Всего лишь мысль, но она внезапно ослабила удар тоски. Я вдруг вспомнил, зачем я приехал сюда. Не ради того, чтобы «попробовать Запад», не ради гипермаркетов, музеев и даже не ради экзотической Берлинской стены. Я вспомнил об Инспекции, о «Медицинской герменевтике», о группе, созданной год назад мной и моими друзьями. Я вспомнил, что уже завтра из Москвы приедут мои друзья. Я прибыл, чтобы потусоваться здесь с ними, время от времени записывая на диктофон медгерменевтические беседы. Я был не туристом, но инспектором – эта мысль позволила мне обойтись без таблетки.

Остаток дня я провел в маленьком порнографическом кинотеатре, совершенно безлюдном, где я то засыпал, то наблюдал сквозь полусомкнутые ресницы за двумя фильмами,

которые сменяли друг друга, как петли одной восьмерки, как лопасти одного пропеллера, – в одном из этих фильмов четыре девушки, мягко опаленные средиземноморским солнцем, осуществляли круиз на яхте от острова к острову, постоянно совокупляясь с капитаном, матросами, рыбаками, полицейскими, зрителями маяков и исполнителями местных танцев, а в перерывах между совокуплениями они загорали, умащали друг друга солнцезащитными кремами и вели беседы на смеси европейских языков. Это был мир пены – пренатальная морская пыль, из которой должна появляться на свет любовь, но фильм следовал призыву поэта Мандельштама: «Останься пеной, Афродита!» И Афродита действительно оставалась пеной, она вздымалась на далеких и мутных волнах разорванными кружевами, она превращалась в пену для ванн и в бесчисленные брызги – брызги шампанского, брызги спермы, брызги соленой морской воды.

Незамысловатое, но идиллическое порно 70-х годов, сонное, слабоумное – я всегда любил такие фильмы, их мутноватые смуглые цвета, их слегка смазанную картинку и легкий отблеск хипповской грезы, застрявший в плавных складках вагин и южных холмов. Всё это оказывало на меня не столько возбуждающее, сколько умиротворяющее воздействие: моя душевная боль растворялась в потоке безоблачных соитий. Эти фильмы снимались в годы моего счастливого детства: я узнавал эти прически, эти цветастые рубахи и локоны, эти золотистые босоножки девушек, а море, пинии и скалы на-

поминали возлюбленный Крым, которым я весь был пропитан насквозь от макушки до пяток, так как был конец сентября, а всё только что минувшее лето я провел в Коктебеле, в тени гор, в соленых объятиях морских волн и девушек в цвету, так что этот невинный средиземноморский фильм демонстрировал реальность гораздо более мне близкую и родную, чем берлинские улицы, лежащие за порогом маленького кинотеатра.

Второй фильм излагал историю дерзкой гимназистки, ученицы старших классов немецкой школы: она была одержима сексом, смугла, бледноволоса, с носом, по форме напоминающим лодочку. Снимая с себя одежду, она неизменно сохраняла на узких бедрах тонкий поясок в виде цепочки, намекающий на то, что она – рабыня своей obsesии.

Прежде чем осуществить телесное взаимодействие с очередным школьным остолопом, она обязательно произносила в его адрес несколько пренебрежительных и оскорбительных фраз, из чего следовало, что эта девочка воспринимает секс как демонстрацию презрения. У нее был неплохой велосипед.

В нынешней Европе уже нет таких пустынных и уютных порнокинотеатров, а те, что есть, заполнены угрюмо дрожащими, затравленными гастарбайтерами, – а в прежние годы казалось, что в западных странах некому стало дрочить. Дрочил ли я? Честно говоря, не помню. Может быть, и вздрочнул пару раз, но не за этим я зависал здесь, а исключительно

ради покоя и летаргии.

Закрыв глаза, я вспоминал лица и тела девушек, с которыми болтал, гулял, танцевал, целовался и сплетался воедино минувшим летом: кого-то из них я потом не видел никогда, с другими и потом дружил и делил ложе, а с одной из этого солнечного хоровода мне суждено было прожить более десяти лет. Но в берлинском кинотеатре я еще об этом не знал, я еще не влюбился в нее: тогда она была лишь одним счастливым и прекрасным образом в хороводе других, столь же счастливых и прекрасных.

Чтобы объяснить происхождение острой тоски, а также происхождение терапевтического эффекта, который смог эту тоску ослабить, следует рассказать хотя бы кратко о том, что произошло со мной после путешествия в Дрезден. Между Дрезденом и Западным Берлином прошло три года, но казалось, что это были не три года, а четыре совершенно разные жизни, ничем не похожие друг на друга. А что было до Дрездена? До Дрездена была жизнь гигантская, единая, неделимая, которая плыла сквозь меня словно бы тысячу лет, жизнь веселая и под необозримым небом, жизнь, освещенная любовными солнцами детства, наполненная впечатлениями и событиями, которые словно бы ласкали друг друга. Я уже упомянул о счастливом детстве, и оно действительно было счастливым, несмотря на мрачность школ и больниц, чьи угрюмые пространства, при всей их монолитности, всё равно таяли в потоках счастья, которое меня почему-то

переполняло. Людям, которые мало меня знали, я казался хилым, бледным, застенчивым и погруженным в меланхолическую задумчивость ребенком. Но знакомые мои знали о сногшибательной эйфории, мне присущей, они знали, что я – выдающийся хохотун, способный смеяться часами без остановок, до полного умопомрачительного изнеможения: я сгибался пополам, падал, валялся, извивался – короче, всячески исчезал в необузданных взрывах веселья и ликования.

Так было до Дрездена, до того, как я одним глазком заглянул в германский шеол, в мир теней, а после этого странного путешествия, как поется в песне, —

Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал...

Я еще некоторое время учился в пражской Академии изящных искусств на театральном факультете, на отделении сценографии. Здание и по сей день стоит на Карловой улице, в самом сердце Праги, на полпути от Новой ратуши (где на углу возвышается черная фигура рабби Льва) к древнему Карлову мосту. Теперь там nonstop текут реки туристов, а тогда было пустынно: греко-католический собор стоял в лесах, а напротив него теплилось кафе «У золотого гада», где в те годы случались пузатые чехи и буклястые чешские дамы, а нынче сидят только золотые гады, прибывшие из разных уголков мира для любования Прагой.

Теперь по этой улице среди туристов снуют злые цыгане, продающие поддельный ганджубас. В Праге стафф надо покупать только у чернокожих, а у цыган – никогда! Под крышей большого дома теснились мастерские-мансарды, где совершалось обучение сценографов. Далее по Карловой улице, ближе к мосту, находился наш студенческий театр «Диск» (там теперь эротическое варьете), там мы ставили разные спектакли – делали декорации, костюмы... «Макбет», Чехов, «Жизнь насекомых» по Карелу Чапеку.

Учение сопровождалось безудержным алкоголизмом, особенно это дело ожесточалось при подготовке спектакля – тут многое зависело от театральных рабочих, а для того, чтобы они что-либо сделали, следовало неистово напиваться вместе с ними в маленькой комнатке за кулисами, сплошь оклеенной журнальными вырезками с фотографиями голых красоток.

Услаждаясь переливами народного чешского юмора (солдат Швейк показался бы кастратом в сравнении с нашими театральными рабочими), я иногда напивался там до такого состояния, что эти журнальные одалиски начинали стекать по стенам подобием водопада.

Несмотря на достаточно веселые студенческие пирушки, мне не особо нравилось учиться – я вообще не люблю учиться. К тому же я не люблю театр.

Когда я поступал в это учебное заведение, один из экзаменов представлял собой рисование портрета с натуры. Пози-

рвала красивая, незнакомая мне девушка: у нее было как бы средневековое лицо, бледное, с заостренным подбородком, с роскошным носом, наделенным элегантно горбинкой. Я совершенно не волновался по поводу экзаменов, мне было безразлично, поступлю я в эту Академию или нет, но пока я рисовал это средневековое лицо, я вопреки своей воле стал проваливаться в какую-то странную форму влюбленности в эту незнакомую мне девушку. Меня охватило болезненное и даже отчасти ранящее восхищение – портрет вышел скверно, но это меньше всего волновало меня: меня так поразили психоделические эффекты, излучаемые этим лицом, что я почувствовал, как из меня молниеносно уходят все силы. Вернувшись домой после экзамена, я съел сытный обед, а затем упал в обморок.

Дома никого не было. Папа с его женой Миленой, вернувшись домой, нашли меня валяющимся в прихожей. По их словам, я выглядел так, будто мне лет сорок. На самом деле мне тогда еще не было восемнадцати.

С этого обморока началось мое студенчество в Праге. И в целом оно протекало в несколько обморочном духе.

Через некоторое время я узнал, что моя мама серьезно заболела. Я взял академический отпуск и вернулся в Москву, чтобы быть с мамой. Это был самый мучительный период всей моей жизни, если не считать моего схождения с ума в конце 2014 года.

Я приехал в Москву в начале весны 1985-го, а в ночь с 9 на 10 августа 1986 года моя мама умерла. В течение всего этого периода болезни я твердо и упорно верил, что мама поправится и всё будет хорошо.

Но этого не случилось. Так не хотелось расставаться! Господи, как же не хотелось расставаться, но пришлось. Высшие силы внезапно обрушили на нас такие чудовищные страдания – за что? Не знаю. Я ничего об этом не знаю и думать об этом не могу.

С тех пор прошло тридцать лет, а до сих пор так больно, что хочется визжать.

Когда мама умерла, меня спасла только коробка с анестезирующими препаратами, оставшаяся от последнего периода болезни, когда делали блокаду. Но потом я поехал в Прагу – вроде бы надо было продолжать учебу. Там не было анестезирующих препаратов – я пробовал анестезировать себя пивом и другим алкоголем, но это не помогало. Пришлось идти к психиатру. Довольно милая дама прописала мне коктейль, где основным препаратом был швейцарский психотроп Ludiomil, в сопровождении парочки транквилизаторов. Мне казалось, я прибыл в Прагу в виде живого трупа, и, если бы не лекарства, сделался бы трупом настоящим. Но всё же не всё во мне сдохло – я посещал Академию и вообще был крайне продуктивен, как бывают продуктивны роботы. В тот период я нарисовал дикое количество рисунков и альбомов – например, альбомы «День», «Ночь», «Сумерки», «Рисун-

ки Сталина», «Гитлер», «Ленин» и прочие.

Потеряв маму, я внезапно и безудержно полюбил Россию: я вдруг ощутил в стране своей то материнское начало, которого лишился в мире людей. Я постоянно пел русские и советские песни о Родине, особенно меня трогали песни из кинофильма «Щит и меч» – из разряда моих любимых кинофильмов, где советский герой щеголяет в немецко-фашистской униформе (номер один – это, конечно, Штирлиц в этой гирлянде).

С чего начинается Родина?

С картинки в твоём букваре...

Да, с картинки. В тот период я нарисовал бесчисленное количество картинок, наполненных (под личиной галлюциноза, под личиной иронии, под личиной игривого постмодерна) только лишь одним – моей дикой тоской по маме и моей безудержной и оголтелой любовью к Родине. Все эти елочки, колобки, снеговики, избушки, снежинки, тропинки, грибы, заснеженные солдаты и офицеры вермахта, спасские башни Кремля, галоши, подстаканники, шарфы, православные священники, лисички, флаги, белые кошки, ежи, дачи, высотки, гербы СССР, кафе-стекляшки, улитки, электрички, совы, моржи, плотники, патриархи, ковровые дорожки, галстуки и усмешки Ленина, мавзолеи, красноармейцы, салюты, болотца, замшелые пни... Именно тогда, как я теперь понимаю, сложилась и прошла алхимическую возгонку в тиглях тоски та иконография и манера изображения, ко-

торая впоследствии стала ассоциироваться в сознании публики с тем громоздким и нелепым псевдонимом, который я придумал себе в возрасте тринадцати лет. Но тогда я, конечно, не думал ни о какой публике, ни о каком современном искусстве – не до того мне было.

Все мои тогдашние художественные и литературные практики представлялись мне стопроцентно интровертными. Причем этих интровертных практик было довольно много, они были разнообразны и увлекательны. Еще в 1985 году Милена съездила в Японию по дзенским делам (она серьезно увлекалась дзен-буддизмом) и привезла мне оттуда небольшой ярко-красный диктофон. Я полюбил этот диктофон безоговорочной любовью, и он сделался для меня источником многочисленных развлечений. Особенно мне нравилось записывать радиоспектакли по типу «Театр у микрофона» – я изображал разные голоса: мужские, женские, старческие... Они беседовали друг с другом в манере актеров МХАТа или Малого драматического театра – всё это были импровизации, иногда многосерийные, занимающие несколько кассет. Помню некий «Трагический пикник», где воспроизводилась в гипертрофированном виде чеховская вязкость, превращающаяся в некую бездонную трясину – отравленная поэтесса из последних сил гулко лепетала свое последнее стихотворение с интонацией Ахматовой:

И в глаза мне, смеясь, серебрились

Зеркала, словно воды потока
И, увидев меня, изумились
И сказали: «Как ты одинока!»

В ответ на этот поэтический стон двенадцать стариков с двенадцатью голосами (каждый из которых с разными вариациями воспроизводил чмокающий болотно-мокрый голос актера Иннокентия Смоктуновского) излагали свои исповеди, как бы исповеди кикимор, звучащие из-под замшелых кочек. Сюжет был прост: огромная компания декадентов отправляется на пикник, где все они постепенно гибнут в пространственных монологах-агониях, потому что среди них орудует отравитель.

Впрочем, эти радиопьесы я записывал в основном еще до маминой болезни. Потом, когда мама болела, я записывал маму, диктующую свой последний роман «Круглое окно» – самое искреннее и великолепное описание собственной жизни из всех мне известных. Этот роман мне удалось издать в начале 90-х годов с помощью моего друга Юры Поезда. Издание скромное, тираж небольшой, но эта книга стала пронзительным откровением в жизни многих людей. Собственно, и данные записки следует воспринимать как некое приложение к роману «Круглое окно», раз уж я решился чиркнуть их в очередном блокноте Moleskine, а этот блокнот сам себя рекламирует следующими словами:

Culture, imagination, memory, travel, personal identity. Flexible and brilliantly simple tools for use both in everyday and extraordinary circumstances, ultimately becoming an integral part of one's personality.

В общем, отчасти продолжая автобиографические книги моих родителей «Круглое окно» и «Влюбленный агент», отчасти повинуюсь диктату своего блокнота, я и пишу сейчас этот текст.

В виде странного продуктивного зомби я проучился целый год в Академии. Впрочем, папа и Милена согревали меня лучами своей заботы, а также часто наезжали к нам гости, которым удавалось развлечь меня. Особенно благодарен я Холину и Пригову, которые в тот период довольно долго гостили у нас.

Оба принадлежали к родному московскому кругу, и мне казалось, что этот дружеский и вдохновенный круг людей, близких по духу и судьбе, просунул в реальность Праги руку помощи, точнее, две руки, одна из которых называлась Холин, а другая – Пригов. Холина я знал сколько себя помню, с младенчества, и он (как и неразлучный его друг-поэт Генрих Сапгир) всегда казался мне неотъемлемой частью моей жизни. Теперь их обоих уже давно нет, но я так и не уверовал в этот факт: всё мне кажется, Холин сейчас подъедет в своей советской машине, чтобы отвезти меня куда-то по каким-то

важным делам, как он делал бесчисленное количество раз. Нередко это были дела, чья важность была очевидна одному лишь прозорливому Холину – например, купить мне новые модные штаны. Всё мне кажется, что после успешной покупки штанов мы с ним заедем к Сапгиру, где будет, конечно же, пьянка.

Пьянка и жрачка в солидно меблированном интерьере, сопровождаемая картавым чтением сапгировских поэм. Где вы, друзья-поэты? Ушли вслед за моей мамой, которая всегда дружила с вами, входя в ваш заоблачный поэтический карасс. Проницательных ребят Холина и Пригова, приехавших погостить к нам в Прагу (Холин делал это регулярно, Пригов приехал впервые), не обмануло, что я демонстрирую множество новых и неплохих рисунков, пишу тексты и способен разветвленно поддержать любой дискурс на любую тему. Их опытные очи разглядели за этой завесой, что меня подморозило не на шутку. Их чувствительные сердца, скрываемые за стоическими и хладнокровными обликами, подсказали им, что меня, вообще-то, надо как-то спасать, вынимать из внутреннего айсберга. И они стали всячески тормозить и отогревать меня. Делали они это по-разному – каждый в своем духе. Холин предлагал уделить особое внимание одежде. Это было мне близко и понятно, я сам всегда обожал одежду, но меня всегда загадочно качало от полного равнодушия к ней, от облика забвенного и замшелого, к заботливому и увлеченному моднику. Иногда я становился

глэм-панком или эпатажным денди, или холеным господничком, в зависимости от того, куда дул мой внутримозговой ветер.

Собственно, я продолжал модничать даже в состоянии скорбной депрессии, но модничал в стиле призрака ушедших времен: предметом моей гордости тогда было черное длинное пальто 1920 года, аутентичное, приталенное, до пят, с огромными костяными пуговицами, с набивными плечами и узким воротником из черного бархата. Подкладка особенно поражала роскошью – ее паттерн оказал бы честь как самурайскому кимоно, так и современному девичьему платью.

Это панковское (в современном контексте) пальто подарило мне семейство Панковых (я всегда трепетно ценил такие совпадения). Чтобы оттенить и изуродовать омертвевшую буржуазную элегантность этого пальто, я обычно носил к нему облытые советские ботинки на молниях «прощай, молодость!» с войлочным верхом, а также аморфные вязаные варежки (разные), купленные на подмосковных полустанках у старух, обладающих сияющими глазами.

Но Холин аргументировал в том духе, что якобы (чтобы преодолеть отдаленность от живых) мне следует, наоборот, одеться в совершенно новое шмотье в стиле простого прямолинейного парня, по модному стандарту того дня. Я с ним согласился, и мы предприняли энное количество походов по магазинам Праги, закупая соответствующие одеяния. Я всё

это покорно и безразлично напялил, но тут надо понимать, что Холин (несмотря на его внутреннюю аскетичную роскошь субъекта, который годами сочетал в себе гениального и бескомпромиссного поэта с жизнью мелкого советского спекулянта) всё же был пожилым человеком и у него были несколько смазанные представления о модном парне моего возраста. Имидж получился в каком-то смысле очень радикальный, но я не удержался и быстро нырнул обратно в мрачную пучину фрик-ретро, а тогда это было в духе времени: в конце 80-х ретро бушевало среди самой продвинутой молодежи, которой тогда нравилось одеваться в стиле «одежда, вынутая из гробов» (в Москве таких ребят и девочек называли «тишинцами», так как Тишинский рынок был эпицентром этих посягновений), так что я был в тренде, о чем не подозревал проницательный в области спонтанной психотерапии Холин.

Что касается Пригова, то он оказался еще более проницательным, чем возлюбленный Игорь. Он сразу понял, что мне нужны соратники, люди моего возраста, в чьем энтузиазме я смог бы раствориться. Поэтому он часто говорил мне об Ануфриеве, которого я тогда почти не знал. О нем же настоятельно сообщал мне и настоятель нашего великолепного монастыря Андрей Монастырский, которого я часто навещал во время своих наездов в Москву.

В начале августа 1987 года я отправился в Коктебель в

компании с Антоном Носиком и Илюшей Медковым. Это крымское путешествие стало для меня воскрешением из мертвых. В первый же день я вошел в соленые воды Черного моря и плавал долго, как было у меня в привычке, не менее двух часов. А выйдя на берег, встретил знакомую девочку и в ту же секунду влюбился. Короче, я внезапно воскрес и преисполнился головокружительного ликования, чего никак от себя не ожидал. Тот август заслуживает отдельного сакрального описания – не в этом романе. Но блаженный август закончился, а вместе с ним закончились и каникулы. Надо было возвращаться в Прагу, чтобы продолжать обучение в Академии. Я прилетел в Прагу, просидел день на лекциях, а выйдя из своего учебного заведения, внезапно увидел перед собой чучело лисы. Напротив здания Академии находился меховой магазин. В пасмурной витрине этого магазина (социализм славился пасмурностью своих витрин) сидела набивная лиса и внимательно смотрела на меня черными стеклянными глазами. Я поймал ее взгляд. И в голове моей сверкнуло паническое осознание: «Я на носу у лисы!!!» Я был Колобком в тот миг, зависшим на грани поглощения лисьим организмом. «Соскок!!! Надо соскакивать!!!» – заверещала моя душа. В тот миг я понял, что больше не вернусь в Академию. Да и вообще, внезапно пришло ко мне ясное осознание того факта, что пражский период моего существования закончился. Я резко бросил учебу и вернулся в Москву. Не так уж много совершил я по жизни решительных поступков. Мне

кажется, по большей части решительность (порою поразительная и молниеносная) настигала меня в ситуациях, когда у меня появлялась возможность дезертировать из каких-нибудь рядов. Короче, я всегда был любителем сбежать. Вот и тогда, осенью восемьдесят седьмого года, я сбежал из Праги в Москву, и это бегство настолько меня порадовало, что волосы будто танцевали у меня на голове. Вскоре после прибытия в Москву я зашел в артистический сквот в Фурманном переулке. Дверь мне открыл хрупкого сложения панк в зеленоватой и узкой одежде, на которой виднелись какие-то самодельные надписи. Глаза у него были столь же темные и блестящие, как у лисы из пражского магазина шуб. Но этот взгляд не внушил мне паники. Черты лица как бы персидские. Я сразу же прозвал его мысленно Персидским Панком. Это и был Сережа Ануфриев, о котором мне столько рассказывали. Мы сразу же разговорились, а вскоре стали записывать философские беседы в моей квартире на Речном вокзале. Жизнь тогда была тусовочная, поэтому квартира просто ломилась от гостей: кто-то постоянно уходил, приходил... Кто-то был пьян в хлам, кто-то смотрел видео, кто-то с кем-то ебался за перегородкой...



Война с гигантским ребенком. 2007

Но мы сосредоточенно (хотя в то же время рассеянно) беседовали на самые заоблачно-укромные темы. Сережа приходил в сопровождении своей тогдашней жены Маши Чуйковой. Она всегда была одета крайне ярко, в стиле циркового клоуна, но при этом была молчалива, застенчива, легко краснела и в основном сосредоточенно читала детективы, сидя на кухонном диване. Когда приходило время всем спать, Сережа неизменно засыпал в ванне, наполненной водой, подложив под голову свернутое полотенце. Присутствовало в нем нечто йогическое. Вскоре к нашим беседам под-

ключился Юра Лейдерман, еще один художник-концептуалист из Одессы. Этот молодой интеллеktуал обликом напоминал большевика Якова Свердлова, но медитировал в основном на некоторые тонкие аспекты древнекитайской культуры.

Так в утробе одной из космических московских зим и родилась группа под названием Инспекция «Медицинская герменевтика». Но вернемся в Западный Берлин восемьдесят восьмого года.

Недолго я прожил тогда в зубоврачебной квартире в солидном Шарлоттенбурге. При первой же возможности я переселился в Кройцберг, поближе к Стене, на улицу Ораниенштрассе (впрочем, я часто путаю эту улицу с Ораниенбургштрассе: да и мудрено не перепутать). Там обитала артистическая коммуна «Бомбоколори».

На этой улице я многократно бывал в последующие годы моего пребывания в Берлине, и хотя улица не изменилась с годами, но я никогда не мог узнать тот дом, где располагалась студия «Бомбоколори» – внешний вид этого дома истлел в моей памяти, хотя я хорошо помню, как выглядели комнаты внутри – большие, белые, со скрипучими дощатыми полами, с огромными фабричными окнами, за которыми темнел внутренний двор: здесь когда-то был, видимо, товарный склад или небольшая фабрика. А заносило меня на эту улицу в последующие годы, потому что на ней жил Эдгар До-

мин, наркодилер и музыкант, и я в течение лет посещал его из уважения к его занятиям – впрочем, скорее к первому, нежели ко второму. Дверь его квартиры открывала в ответ на мой звонок юная бразильянка, подруга Эдгара, малолетнее и блаженное чадо из Рио с золотистой кожей и вьющимися волосами: с ее губ никогда не сходила космическая улыбка, потому что она никогда не отдалялась от источника благ, а глаза ее напоминали два маленьких аквариума, в которых вместо зрчков плавали две золотые рыбки, способные наградить любого рыбака и любую рыбачку дарами сонной и невменяемой радости.

По контрасту со своей свежайшей любовницей сам Эдгар был рано обветшалым худым господином немолодых лет – руки у него тряслись так сильно, что, когда он пил отвар из бразильских листьев, заваренный его подругой, край чашки отбивал чечетку о его великолепные искусственные зубы. Но когда из глубин шкафчика появлялись старинные бронзовые весы, руки Эдгара загадочным образом успокаивались, из пальцев уходила дрожь, и он четко и ответственно взвешивал и отмеривал свой благоуханный товар. Все три его комнаты были густо завешаны картинами питерских художников: Гурьянов, Тимур Новиков, Африка и другие.

Он дружил с ними. Политические убеждения его были самые левые, и всё же тайная гордость освещала его истерзанное лицо, когда он доставал из шкафа, где хранились снадобья, еще и увесистые толстые фотоальбомы, наполненные

снимками, которые делал его дядя, заядлый фотограф-любитель, во время войны. Дядя служил в СС, в зондеркоманде, занимался в самых различных оккупированных странах карательными акциями в отношении мирного населения, подозреваемого в поддержке партизан. Не подлежит сомнению, что этот дядя был по уши забрызган человеческой кровью, но ни капли этой крови, ни одного военного дымка не проникло в его фотографии, на которых загорелые, расслабленные парни в расстегнутых мундирах или же без мундиров обнимали друг друга за плечи, улыбались, удили рыбу, играли в мяч, плескались в водоемах, жарили вурсты на костерке на фоне поэтических ландшафтов Греции, Югославии, Украины, Франции, Крита, Северной Африки, России... Эти фотоальбомы выглядели стопроцентно мирно и туристично, в кадр не попадали даже автоматы, не говоря уже о танках, пушках, виселицах, горящих домах, трупах или живых представителях местного населения. На всех снимках – люди, но, просмотрев эту большую стопку тяжелых альбомов, я не увидел ни одной женщины, ни одного ребенка, ни одного мужчины постарше – одни лишь только рослые, отборные, статные немецкие хлопцы, окруженные природными угожьями или же руинами античных времен. Казалось, дядя Эдгара снимал некий гомосексуально-туристический рай, в котором только блестящие сапоги и униформы намекали на нечто военное, причем качество снимков было великолепным, прочувствованным – дя-

дя был талантливым фотографом: он мог передать ребристую лакированную шершавость листочка русской березоньки с каплей последождевой росы, а за березонькой – холодок русской речки, где в лодке, бросив весла, два парня в белых рубашках, выпущенных поверх галифе, улыбались, полюбнявшись, причем один улыбался в камеру, а другой – глядя на ухо первого, которое было схвачено солнечным лучом и окружено влажными после купания завитками белокурых волос.

Переводя взгляд с фотографий покойного эсэсовца на полотна Гурьянова, висевшие на стенах, я видел нечто подобное: гейская героическая сага – пловцы, гребцы, матросики, отважные летчики, – но все эти холсты казались мертвыми, сухими и безжизненными, а гурьяновские герои – тухловатыми манекенами в сравнении с фотографиями дяди Эдгара. Эти фотоальбомы, наполненные фотками убийц с веселыми и простодушными глазами, сами могли бы стать орудием убийства, настолько они были тяжелы, с металлическими уголками, с накладными стальными дубовыми листьями и плоскими шлемами на переплетах. Мне нравилось рассматривать их, покуривая и попивая бразильский целебный чай. Спасибо тебе, извращенная Германия, что ты открыла передо мной свои альбомы и свои шкатулки с азиатскими дарами.

Много говорилось о гомосексуальной основе немецкого национал-социализма. Видимо, ради сублимации и органи-

зации этой голубой энергии Гитлер и Гиммлер и расправились с откровенными геями из окружения Рёма – а «ночь длинных ножей» следует понимать как «ночь длинных хуёв». Гитлеру требовалась нерастраченная гомосексуальность в ее военно-латентной форме. С восхищением думаю об аморфных советских солдатах, растоптавших своими грязными сапогами этот казарменный эрос.

Тогда-то над Рейхстагом и воспарило Красное знамя, знак униженных и оскорбленных, которые нашли в себе силы унижить и оскорбить своих подтянутых обидчиков в элегантных мундирах. Это было очередное рождение Венеры, триумфальное возвращение женской менструальной магии – миг любви, сопровождающийся массовым ритуальным изнасилованием германских фрау и фрекен. После этого наступил мир: женщинам не нужна чужая кровь, они ежемесячно проливают свою.

У Эдгара всегда был отличный стафф. И большое разнообразие разносолов. Торговал он не только курительными субстанциями, но и кое-чем покруче. Например промокашками и кристаллами. Помню, как мы с моими друзьями Настей и Ваней после визита к Эдгару съели по кристаллику и долго болтали, изображая акцент и интонации Брежнева с его нечеткой слипающейся речью, обогащенной бушменским прицокиванием.

Эта брежневизация наших речевых аппаратов уводила нас в пучины уютного хохота.

Мы приехали тогда по случаю выставки «Берлин – Москва», где я демонстрировал картины из серии «Политические галлюцинации», а также показывал свой фильм «Гипноз», снятый незадолго до этого, специально к этой выставке. В середине ночи, нахохотавшись, мы ощутили голод и отправились на Кудамм, где в ночные часы работало тогда единственное кафе, и там мы желали отведать штрудель.

Я всегда обожал штрудель, что роднит меня с Арнольдом Шварценеггером, который признался в одном интервью, что штрудель – его любимая еда. Магическая снедь by the way – съедобный ammonit, спирально-ракушечная структура, открывающая путь к символическому поглощению космоса. Я вычитал у К. Г. Юнга, что словом Strudel называют шаманов и магов на горноальпийском диалекте в некоторых областях Швейцарии.

Внутренний зрак показывает мне Кристофа Вальца в роли полковника Ланды из фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Я боготворю этого актера, создавшего гирлянду образов застенчивых злодеев, которых мучает осознание собственной немодности, но именно из неуместности, из отсталости и провинциальности рождается шарм и драйв этих персонажей, ради которых Кристоф всегда (в самые зловещие моменты) готов поднять брови домиком над невинными и недобрыми треугольными глазенками.

Глава пятая

Одно из возможных запоздалых вступлений

Как и большинство моих современников, я мог бы составить автобиографию потребителя или туриста. Впрочем, мне более по душе роль отдыхающего, и я мог бы с поразительным прилежанием описать некоторые курорты и оздоровительные процедуры в санаториях. Я мог бы описать также жизнь сновидца (это я отчасти уже сделал в книге «Сновидения и капитализм»), и это могло бы плавно перетечь в мистические воспоминания, посвященные поразительным совпадениям, чудесам и играм Высших Сил (я счастлив, что могу похвастаться изобилием таких приключений, но не всеми из них я готов поделиться с читателем). Капризы социокультурной ситуации заставляют меня думать, что всё это многообразие блюд нынче дозволено подавать под единственным соусом, который называется «жизнь современного художника». И подавать эти блюда можно только в той сети ресторанов, которая всем известна под названием «современное искусство». С одной стороны, это несколько странно, ведь традиционно такого рода материями заведовала художественная литература или же междисциплинарные исследования, но возможности литературы и междисциплинарных иссле-

дований (надеюсь, временно) урезаны. Зато упомянутый соус открывает путь к щедро иллюстрированным изданиям. Как настоящий еврей, я дико люблю книги. Как неправильный еврей, я люблю книги с картинками. Никакой упоительный оригинал произведения искусства не заменит мне книжной картинки.

Короче, если вам нужны воспоминания художника, то вот они перед вами.

Тем более речь идет о почтенном жанре. Кто из моих предшественников в этом деле вдохновлял меня? Я уже упомянул, что данная книга является в некотором роде приложением к автобиографиям моих родителей – к роману «Круглое окно» моей мамы Ирины Пивоваровой и к «Влюбленному агенту», написанному моим папой Виктором Пивоваровым. Кроме этих двух непосредственных вдохновителей, подаривших мне ту самую жизнь, которую теперь я пытаюсь косвенно описать, воображение рисует мне целые шкафы книг, написанных художниками. Вспоминается отличная книга Кандинского (кажется, она называется «Линия и точка на плоскости»), где малолетний автор сначала кольцами снимает кору с древесной ветки, обнаруживая под охристой поверхностью до боли яркую зеленую подкладку, которую требуется так же осторожно удалить с помощью перочинного ножа, дабы пробиться к айвори-белизне, но сразу же после этой слоновой кости белизны возникает черная-чер-

ная-черная карета, в которой малыша Кандинского везут по тесным улицам Венеции. Ну а письма Ван Гога – их все читают, как будто ухо себе отрезали! – «Дорогой Тео...» и так далее (имя Тео наводит на мысль, что все эти письма адресованы Богу: брату как Богу или Богу как брату).



Казачок. 2008

Кроме этих двух классических авторов, я в разные периоды жизни с удовольствием читал автобиографическую прозу Альфреда Кубина и Леонида Пастернака. Книги Сальвадора Дали «Дневник гения» и «Тайная жизнь Сальвадора Дали» заставляют думать, что автор был более глубокий и пронзительный в литературном деле, нежели даже в живописном.

Невозможно не упомянуть также такие великолепные сочинения, как «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)» и «Пространство Эвклида» Кузьмы Петрова-Водкина. Энди и Кузьма в разное время произвели на меня впечатление, но особенно вспоминается автобиографический текст, написанный одним не очень известным художником, чью фамилию я сейчас вспомнить не могу. Этот текст (возможно, повесть) называется «Наши с Федей ночные полеты».

Художник повествует о детстве, проведенном в деревне, — там якобы вдруг открылась у него и его приятеля Феде способность к реальным левитациям. Парни так увлеклись (да и как тут не увлечься), что каждую ночь прыгали с сельского обрыва и летали привольно и блаженно над ночной рекой, серебрящейся среди полей, над черным бором, над горстью домишек с ржавыми крышами, долетали и до железной дороги, и кружились над поездами, которые влачили сквозь поля свои полусветящиеся окошки, а в окошках люди спали, напившись чаю, или всё еще пили чай, звеня своими гранеными стаканами в латунных подстаканниках, они грызли сахарные кубы своими летаргическими зубами, а местами украдкой или разбитно лакали водку, но ни их сны, ни пьяный их угар не позволяли им догадаться, что двое малолетних, презрев законы гравитации, вращаются в воздухе над их составом дальнего следования.

Эта способность обрушилась на парней неожиданно-негаданно, она ни с чем не была связана, и так же она их и поки-

нула – при первых проблесках полового созревания. Никакого влияния ни на творчество этого художника, ни на его последующую жизнь эти полеты не оказали. Полеты так и остались безотносительным всплеском блаженства. Это, наверное, лучший из воспоминательных текстов, написанных художниками, – возможно потому, что автор скромн, о нем ничего не известно (во всяком случае, мне), и это сообщает повести тот энигматический вкус, который, как ни странно, совпадает со «вкусом жизни».

На этой эйфорической ноте перехожу к автобиографическим текстам, написанным моими друзьями и знакомыми, – а такие тексты читаешь совершенно другими глазами, чем исповеди незнакомец, даже если эти незнакомцы – прославленные знаменитости. Когда знаешь человека лично, совсем иначе воспринимаешь текст, им написанный, – и здесь я приношу свои извинения тем читателям, что со мной не знакомы: сожалею, но вы так или иначе обречены на тысячи микроскопических недопониманий в процессе чтения данных записок, но эти недопонимания есть явление совершенно естественное, и о них лучше всего немедленно забыть, тем более что Ролан Барт где-то пронизательно заметил, что забывание есть условие чтения.

Итак, имеется сиятельное «Каширское шоссе» Андрея Монастырского, но по своему масштабу и размаху это сочинение сильно превосходит размеры жанра под названием «исповедь художника» и является шедевром духовидческой

и психоделической литературы – Кастанеда, короче, тихо отдыхает в уголке.

Ну и, конечно же, очень иронически написанные и при этом весьма глубокомысленные «60–70-е...» Ильи Кабакова – тоже краугольный текст, хотя две другие кабаковские книги – «Муха с крыльями» и «В нашем ЖЭКе» – еще на порядок краугольнее.

Кроме этих сокровищ Пустотного Канона Номы (московского концептуализма), в рядах памяти еще присутствует книга «Ряды памяти» Никиты Алексеева. Из этой книги мне больше всего запомнилось признание автора, что это именно он нарисовал заставку к советскому фильму «Остров сокровищ» – эта заставка в детстве меня гипнотизировала, хотя и не доводила до такого сладко-леденящего состояния, до которого доводили меня гравюры Рокуэлла Кента, вставленные в фильм «Моби Дик»: полярные звезды, фонтаны пара над морем, небо, сотканное из линий, черные китобои во тьме, дублон, прибитый к мачте гвоздем, хромой Ахав, мертвый индеец на живом теле белого кита, опутанный по рукам и ногам солеными гарпунными канатами...

Я с удовольствием вручил бы мистеру Кенту приз в виде китового уха – приз за рекордно сильное психоделическое воздействие произведения искусства на мозг зрителя! Что касается китового уха, то в конце 80-х я им обладал, и эта странная кость довольно долго служила мне одновременно пепельницей и объектом для медитаций.

В совсем недавние годы различные мои знакомые написали и издали целую охапку книг из категории art memories. Из их числа собираюсь отметить книгу Александра Бренера «Жития убиенных художников», – да и как не отметить, если в этой книге мне посвящена целая глава, да еще и очень трогательно написанная! Прочитав эту главу, я подумал, что если бы мои ближайшие друзья написали воспоминания, вряд ли они посвятили бы мне целую главу. В то время как Бренер, который видел меня раза четыре, это сделал. Это неудивительно: постоянное и долгое общение является формой растворения друг в друге, поэтому нам трудно, а иногда даже невозможно описывать ближайших людей, тогда как мимолетное знакомство напоминает визит в театр, где актер на сцене схвачен ярким искусственным светом – светом фантазма.

В общем, мне понравилось, как Бренер меня описал, хотя это описание и пропитано чувством дикого разочарования, – но это разочарование в данном случае является литературным нервом повествования. С одной стороны, мне совсем не жаль, что я разочаровал Бренера, потому что я не симпатизирую тому модернистскому алтарю, который внушает ему религиозное чувство. Но мне понравилось, что его текст написан языком, яростно сопротивляющимся всяческой секуляризации.

Но наибольшее наслаждение из недавно изданных art memories мне доставила книга Леонида (Лёнчика) Войцехо-

ва «Проекты». Если книга Бренера написана языком, который сопротивляется секуляризации, но не вполне верит в то, что священная речь еще может быть подлинной, то книга Лёнчика гораздо мудрее (мудрее, потому что легкомысленней), здесь присутствует понимание того, что священная речь не нуждается в подлинности. Священный текст – это просто байка, цветущее поле легенды, и главное достоинство этого одесского текста заключается в том, что ни один из излагаемых проектов не осуществлен. Эта несбыточность, это безудержное воспарение намерений, этот одесский мифологизм – всё это и составляет тот кайф, который, как мне кажется, должен переполнять любую руку, листающую страницы книги Войцехова.

В общем, художники пишут хорошо – это всем известно. В свою очередь, среди писателей немало хороших художников. Можно наобум вспомнить Иоганна Вольфганга Гете, Г. Х. Андерсена, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Льюиса Кэрролла, Толкина, К. Г. Юнга, Маяковского... Ну и этот список можно продолжить.

Однако мне всегда дико хотелось быть не пишущим художником и не рисующим писателем, а тем и другим в полной и равной степени, как Уильям Блейк!

Это как в мелкотравчатом детстве, когда спрашивали меня (а этот деликатный вопрос почему-то принято было задавать малышам): «Кого ты, мальчик, больше любишь – маму или папу?» На это мне всегда хотелось ответить: «Люблю их

одинаково и очень сильно!»

Так оно и есть, но мои возлюбленные родители расстались друг с другом, сохранив дружеские отношения. В тот миг писатель расстался в моей душе с художником, сохранив дружеские отношения. Я хочу сказать этим, что не только являюсь в равной степени писателем и художником, но эти два персонажа еще к тому же существуют совершенно независимо друг от друга, это два совершенно разных человека, чей образ жизни и образ мыслей редко совпадают, но взаимная симпатия (не лишенная легкой прохлады) позволяет время от времени оказывать взаимные услуги: например, художник ПП может бесплатно изготовить иллюстрации к рассказам ПП (исключительно по дружбе!), а писатель ПП может написать автобиографию своего друга-художника (что и происходит в данный момент). Вы воскликнете: «Это шизофрения!» А я вам на это отвечу: «Как скажете...»

Каковы же различия между этими мистером Джекилом и доктором Хайдом, которым нашлось место внутри одного организма? Различий этих немало, и они достаточно радикальны, но не стану застревать на их описании – мне совсем не до этого, ведь я застрял в каменной друидской ванне в сакральном эпицентре Тевтобургского леса, где я лежу в одежде, без воды, запрокинув вверх восторженное лицо, глядя на уходящую ввысь щель между дольменами, сквозь которую должен хлынуть, но не хлынет мистический зеленый луч.

Сэр Уинстон Черчилль в начале своей «Истории англо-

язычных народов» пишет о золотом времени, когда Британия была частью Римской империи: тогда в этой благополучной стране еще не слыхали о замках – это была страна вилл. В идиллическом описании сэра Уинстона встает цивилизованный мир, где живут грамотные люди, расслабленно возлежащие в ваннах. Две укрепленные оборонительные линии на севере защищали этот мир от варваров – вал Адриана и вал Антонина.

Более четырех веков длилась эта идиллия, но затем стены рухнули и варвары смели этот упорядоченный христианский мир. Потребовалось несколько веков, чтобы Англия снова стала христианской страной. Но, как метко замечает премьер-министр, высокая цивилизация ванн так и не восстановилась в полном объеме: большинству англичан до сих пор приходится стоять в тесных душевых кабинках.

А вот в позднем Советском Союзе утопию ванн удалось реализовать. После расселения коммуналок в каждой советской квартире (даже в убогих хрущобах) имелись ванны – и советские люди щедро плескались в них, возлежали, млели, драчили, курили, играли с плавучими утятами, занимались сексом и читали книги, переворачивая слегка влажные страницы пальцами, чьи лица (лица пальцев) становились сморщенными от долгого лежания в горячей воде – сморщенными и похожими на лица холеных стариков. В романе Толстого «Война и мир» про одного высокопоставленного чиновника сказано, что у него было розовое лицо, морщинистое

и свежее одновременно, и каждая его морщина казалась настолько тщательно промытой, что лицо в целом напоминало подушечку пальца, принадлежащего человеку, долго млевшему в горячей воде.

Но в Тевтобургском лесу ванна была сухой, потому что магия одичалых не предполагает расслабленности. Я лежал в каменной ванне в том самом лесу, где когда-то был нанесен удар по легионам цивилизации ванн.

Я не созерцал зеленый луч в то туманное утро. Да я и не ждал зеленого луча. И всё же через много лет я увидел его.

Надеюсь, не причиню вреда своей художественной карьере, признавшись, что искусство никогда не казалось мне смыслом моего существования. Оно никогда не было для меня целью – лишь средством. Каждый мальчик воображает себя рыцарем, скачущим к своей возлюбленной. Для многих художников эта возлюбленная и есть Искусство. Для меня же искусство – это, скорее, конь, на котором я скачу, верный Росинант, которого я, как правило, знаю, когда накормить, а когда пришпорить. Что же касается Прекрасной Дамы, то эту роль чаще всего играли в моей жизни настоящие возлюбленные, то есть живые девушки. Спору нет: в душе я больше исследователь и любовник, нежели художник.

Случались периоды жизни, когда мной всецело овладевало ощущение тайны, мне казалось, что я занимаюсь захватывающим исследованием (а иногда даже спиритуальным рас-

следованием), мне казалось, что мне открываются некие таинственные стороны бытия, прежде никому не ведомые, а может быть, даже и не нужные прежде никому.

Искать то, что до тебя не было искомым, – это порой захватывает. Но и в этих ситуациях искусство всегда оставалось для меня лишь средством: средством запечатления или же одним из инструментов познания, но фетишизировать искусство, превращать его в символ веры, в объект страстного почитания – к этому я не склонен.

Я также вполне равнодушен к своей роли в искусстве: мне безразлично, кем объявят меня историки и долго ли будут помнить меня потомки. Мне по барабану, будут ли после моей смерти работы мои храниться в музеях или тлеть на помойках. Я хочу, чтобы мое искусство служило мне здесь и сейчас, чтобы оно было мне верным слугой и добытчиком, а не господином, и хочу я от него вполне конкретных вещей – любви и денег. Первое важнее второго.

Я вполне желаю доставлять удовольствие другим, причинять им радость, служить пусть скромному, но блаженству. И мне очень хотелось бы, чтобы меня нежно любили за это и в ответ способствовали и сочувствовали моим радостям.

Я обожаю людей и не терплю одиночества, поэтому ценю искусство прежде всего как повод для общения. Я также высоко ценю терапевтические качества, присущие искусству: хотя само по себе искусство, к сожалению, не является лекарством от моих страданий, зато оно способствует обрете-

нию других лекарств, более эффективных, в том числе и таких, какие за деньги не купишь.

Такого рода склонность к дефетишизации искусства несколько отличает меня от большинства художников. И, по всей видимости, это мое свойство является свойством художника во втором поколении.

Пишу я это всё себе в оправдание и в пояснение некоторых качеств данных записок – ведь ситуация в настоящий момент складывается таким образом, что от меня ждут не просто каких-нибудь воспоминаний, а именно воспоминаний художника. Это пожелание, приходящее извне, меня, с одной стороны, дисциплинирует, с другой стороны – немного тревожит.

Я мог бы чиркнуть заметки эмбриона или автобиографию животного, мог бы написать исповедь эротомана или психоделиста, мог бы набросать философские мемуары или предьявить истерзанной публике воздушное самосозерцание поэта. Мог бы составить ответственное жизнеописание светского человека и тусовщика или же предьявить историю психиатрического пациента, историю болезни, которая, впрочем, может быть дополнена не менее захватывающей историей поисков оздоровления, – то есть я способен был бы написать воспоминания аутотерапевта, как в свое время поступил Зоценко в своей повести «Перед восходом солнца», и это, наверное, была бы наиболее полезная книга в ряду вышеперечисленных. Я мог бы описать лихой жизненный путь

рэпера, хрупко и остро выкрикивающего ненужную правду в застывшую харю общества, или описать затейливую и мучительную дорогу кинорежиссера, мог бы сформировать записки несостоявшегося изобретателя и архитектора, мог бы выступить в роли инакомыслящего дизайнера никому не нужных, но очаровательных излишеств. Мог бы опьянить всех восторженными мемуарами модного кутюрье – словно бы прошелестеть по извилинам коллективного мозга легким и ароматным шелковым шлейфом: ведь я так люблю дефиле и прочую нарядную деятельность.

Всю жизнь я рисовал и был художником. Делал рисунки, тонны рисунков, серии, рисунки с текстами, альбомы, самодельные книжки, издавал журналы несуществующих стран и иллюминированные кодексы несуществующих религий. Изредка делал иллюстрации для массово-детского журнала «Веселые картинки», но в основном бескорыстно изготавливал потоки картинок веселых, мрачных или же пресных. В основном зарисовки галлюцинаций и фантазмов, хотя к сюрреализму это не имеет никакого отношения. Но в конце 80-х – начале 90-х годов освоил новую профессию – профессию эксгибициониста.

Речь не об обнажении тела или души, а об устройстве выставок. Я стал мыслить выставками, а поскольку все профессиональные обсуждения этой деятельности велись в основном на английском языке (украшенном русскими, немецкими, итальянскими и французскими акцентами), слово

exhibition постоянно находилось в центре всего этого деятельного вихря.

В силу этого обстоятельства слово «эксгибиционист» (хотя оно уже закреплено за сексуальным пристрастием) кажется мне более подходящим для обозначения этой деятельности, нежели, скажем, слово «экспозиционер». Экспозиционер создает экспозиции чужих произведений, эксгибиционист создает собственные высказывания в форме выставок. Чем я много лет и занимался. И занимаюсь по сей день.

Итак, эксгибиционист.

И всё же мне следует ввести в данный автобиографический текст еще одно неизбежное измерение – кинематографическое.

Мне досталось такое устройство сознания, что я не смог остаться лишь рисовальщиком, писателем и эксгибиционистом (то есть производителем выставок), но мне пришлось стать также кинорежиссером. И сделался я таковым задолго до того, как снял свой первый фильм (а фильмов я снял крайне мало). Мне не удалось превратиться в Петра Петербурга, созданного моим воображением, я не трансформировался в знаменитого фильммейкера, обитателя кинофестивалей и проходимца по красным дорожкам, я не стал резвым получателем «Оскаров», хотя мне всегда нравился зловещий образ мальчика Оскара из фильма «Жестяной барабан» – Оскара, который криком разбивал стекла и отказы-

вался взрослеть. Оскар из фильма Шлёрндорфа – это немецкий Питер Пэн, внимательный и суровый младенец, напяливший кукольную униформу рейха взамен одежды из листьев, выросших на деревьях острова Гдетотам. Немецкий Питер Пэн не летает, зато он визжит, трахается и стучит в железный барабан.

Итак, я снял крайне мало фильмов, которые можно показать кинозрителю, зато я снял множество фильмов, которые кинозрителю показать нельзя – по той простой причине, что эти фильмы не покинули пределов моего мозга. Точнее, некоторые всё же подверглись обнародованию. Но в виде рисунков и рассказов, устных или письменных. Вот фильмография моих несуществующих в реальности фильмов:

Предатель Ада

Мир погибнет весной

Гитлер под дождем

Круиз Тарковского

Убийство нудиста

История дождевой капли (время фильма – полный метр – это чрезвычайно растянутое время стекания одной дождевой капли по оконному стеклу некой комнаты, в которой в этот миг происходит убийство, все детали коего отражаются в капле со свойственным дождливым дням искажением)

Рай

Эксгибиционист

Восстание бомжей

Бомж-следователь

Гипноз

Сказка о потерянном времени

Олеся в Стране ужаса (фильм о том, как некий немецкий дворянин с детства обожает сказку Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Он становится офицером СС и во время оккупации Белоруссии немецкими войсками инсталлирует в бывшем барском имении некую Страну Ужаса, куда он запускает белорусскую девочку Олесю, арестованную нацистами за помощь партизанам. Фильм о смекалке и бесстрашии советской девочки, которая отважно проходит все испытания Страны Ужаса, причем каждое из испытаний – триллерная версия эпизодов из кэрролловской сказки.)

Сходство (фильм, где играют очень похожие друг на друга люди, фильм о внешнем сходстве)

Ребенок-педофил

Снег

ты
раз
вследующий
аклекиной,
гуджжж!



В следующий раз ты будешь арлекином, дружок! 1992

Русские сказки

Ужас новостроек

Город толстых

Sex Under Drugs

Московская Лолита

Городок в табакерке

Нефтяной человек

Кенгуру-следователь

Эротический мир

Мосгаз (о знаменитом убийце 60-х годов по кличке Мос-

газ, снять на деньги «Газпрома»)

Дух купола

Пружинки (о банде «пружинок» в Питере двадцатых годов двадцатого века)

Детство тиранов (детство Калигулы, Наполеона, Гитлера, Сталина, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, Анны Иоанновны)

Детство Гитлера (отдельно)

Старость Лолиты

Эксперименты в области экранизации философских текстов:

Экранизация «Пещеры» Платона

О чем говорил Заратустра

Пир

Страх и трепет

Феноменология духа

Анти-Эдип

Фильм «Во власти идей»

Фильм «Антивзрыв»

Жизнь торнадо

Из этого списка я собираюсь подробно описать в данной книге один несуществующий фильм – «Эксгибиционист», – не только потому, что название фильма (и название извращения) совпадает с обозначением, которое я присвоил своей профессиональной деятельности, но также потому, что эта книга лишь одной своей стороной разворачивается как воспоминание художника, с другой же стороны эта книга о Германии (а рассказанный фильм тоже о Германии и о ее столичном городе Берлине). Ну, конечно же, речь идет не только и не столько о физической Германии, сколько о той части души (отчасти моей собственной, но также и общечеловеческой души), которой подходит это имя – Германия.

Я не знаю немецкого, несмотря на усилия моего дедушки, который в мои малые годы напрасно пытался приобщить меня к этому языку, бывшему для него родным (хотя сердце его целиком и полностью принадлежало другому языку – английскому).

Мне удалось уклониться от знания немецкого языка,

несмотря на то, что моя судьба так или иначе связана с германскими землями (включая Австрию и Швейцарию) и я подолгу жил в германоязычных странах в разные периоды моей жизни. Ущербное владение английским (на котором я то щебечу, то молчу) защитило меня от немецкого, так некогда «Алиса в Стране Чудес» защищала меня от чудес немецкого леса. Для русского уха слово «Германия» связывается со словами «герметизм» и «герменевтика» – этим, возможно, объясняется тот факт, что наша группа «Медицинская герменевтика» получила наибольшее признание именно в германоязычных странах.

Впрочем, понятие «Германия» здесь следует расширить до старинных пределов Священной Римской империи германского народа (это средневековое государство почти совпадает в своих очертаниях с нынешним Евросоюзом). Как написал немецкий историк, Германия начинается в Риме.

Соответственно и ареал художественных странствий нашей группы (а после распада группы – моих собственных странствий) в основном совпадает с этими пределами: Прага (столица упомянутой Германской империи в XIV и XVI веках), немецкоязычная Швейцария, Италия, Франция, Голландия, Бельгия, Испания. Ну и собственно Германия. За многие годы непрерывных выставочных путешествий (пути экспозициониста) я всего лишь один раз побывал в Америке (Нью-Йорк) и один раз в Англии (Лондон). Период жизни в Израиле, а также странствия в Таиланд, на Шри-Ланку и

в Египет не были напрямую связаны с художественной деятельностью.

Поэтому когда передо мной явилась задача написания автобиографического текста в духе *art memories* (и я, естественно, испытал дикую растерянность перед необузданным шквалом событий, впечатлений, переживаний, деяний, приключений и происшествий, которые готовы обрушиться на голову всякого вспоминающего), я решил не то чтобы строго ограничить свои воспоминания теми событиями и мероприятиями, которые особенно связаны с германскими землями, но использовать Германию в качестве карты для путешествия в прошлое. В прошлое?

Ну да, в прошлое. Ну и одновременно в некую параллельную реальность, а уж таковы свойства параллельной реальности, что ей можно присвоить имя любой страны, пусть даже своей собственной, достаточно прибавить некий воспаряющий эпитет, например Небесная Россия, или Медицинская Швейцария, или Шизо-Китай, или Тайная Германия (общество немецких интеллектуалов с таким названием действительно существует в Берлине и я слегка знаком с некоторыми членами этого поразительного, но вполне респектабельного клуба).

Ну и, *last but not least*, в слове «Германия» слышится нечто маниакальное, в этом слове присутствует так или иначе философско-психиатрический привкус, заставляющий усматривать в этом топониме некую герметическую или герменев-

тическую манию – намек на обсессивное брожение по следам тайны. Такого рода аллюзии вполне уместны в контексте данного романа.

Глава шестая

Город за стеной

Я был так рад видеть своих московских друзей (ведь я эгоистично полагал в глубине души, что они прибыли в Берлин вовсе не затем, чтобы сделать выставку, а исключительно ради того, чтобы развеять мою тоску), что даже исполнил в честь их прибытия приветственный и спонтанный танец, настолько нелепый и необузданный, что друзья мои, смущенные подобным выплеском эмоций, сдержанно посоветовали мне держать себя в руках.

Надежды мои оправдались: отвратительное одиночество сменилось безудержным весельем и мы стали с утра до ночи накуриваться до состояния облаков, чему способствовало глубокое и радушное понимание наших желаний, которое мы обнаружили в некоторых берлинских коллегах, что вскоре сделались нашими закадычными приятелями и приятельницами. Я немедленно покинул квартиру зубного врача и переселился в Кройцберг, поближе к Стене, где панковско-турецким воздухом дышалось мне легче, чем в степенном зубоврачебном Шарлоттенбурге.

Как я уже сказал, степень облачной возвышенности переживаний была существенной, к тому же нас, как неких забавных и веселых детей, окружали нежной заботой наши гер-

манские друзья. Вернер Цайн, Фолькер Никель, Дэйзи, Андреа Зундер-Плазман, девушка Габи с неизменной собачкой Гимли (мы называли ее Гиммлером) и еще несколько приветливых лиц, тающих в ароматном дыму. Но не все коллеги полюбили нас, как выяснилось. Немецкая коммуна «Бомбоколори» разделилась на прорусскую и антирусскую фракции, и кого-то из коллег мы дичайшим образом бесили – в частности, нам инкриминировали инфантилизм, безответственность, коллективизм, индивидуализм, распоясанность, излишнюю шутовскую шутливость, непонимание западной реальности, беспечность, бесшабашность, избыток радости, неаккуратность, восточное двуличие, глупую гордыню и прочее – короче, нам очень повезло, что всё это нам и вправду было присуще, и это позволяло нам не замечать, что кого-то мы раздражаем, и до поры до времени пребывать в счастливом убеждении, что мы дикие обаяхи и всем неммыслимо нравимся.

Западные люди, как это ни странно (даже верится с трудом в такую глупость), разделяются на ангелов и демонов: половина из них необъяснимо и загадочно добры, вторая половина охвачена столь же загадочной злобой. Впоследствии мне пришлось убеждаться в этом снова и снова в ходе моих бесчисленных западноевропейских блужданий, но тогда, в Берлине, я еще об этом не знал.

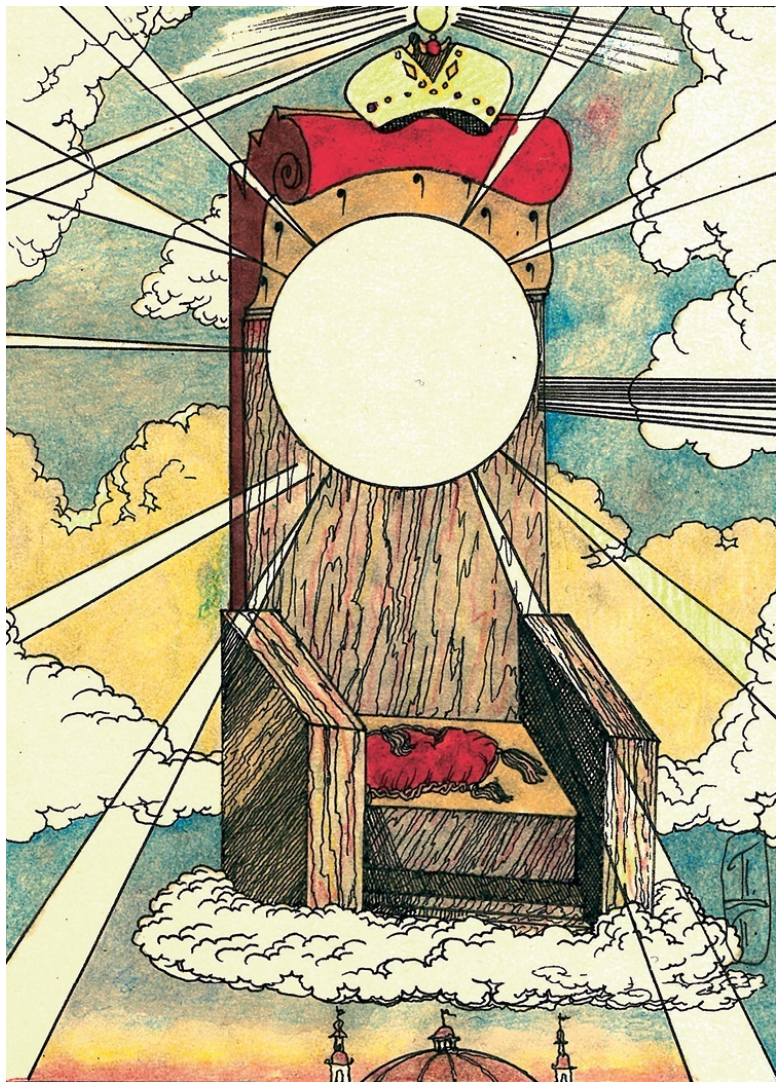
Я не знал также, что то беспечное (как мне казалось) русско-немецкое времяпровождение в городе-острове (который

менее чем через год утратит свой островной статус – надо полагать, навсегда) вскорости будет окружено зоной повышенного внимания и удостоится некоторого количества литературных и искусствоведческих описаний, самое представительное из которых – роман *The Irony Tower* («Башня иронии»), написанный румяной рукой Эндрю Соломона. Этот белокурый и голубоглазый писатель прибыл в Западный Берлин одновременно из Лондона и Нью-Йорка с единственной целью – влиться в сообщество ярких личностей, привлеченных в Город за Стеной внезапно появившимся интересом к советскому артистическому подполью. Ничего удивительного. Это были времена горбимании. Процесс, известный всем под мифическим прозвищем *perestrojka*, гипнотизировал западную общественность (западное коммунальное это, как сказали бы мы в те времена, в те блаженные времена, когда нас самих еще опьяняла молодость и философия). Многим казалось, что разрушено злое заклятие, которое долго не позволяло неким подземным обитателям выйти на поверхность – и вот повеяли свободные ветры, и таинственные узники вскрытой тюрьмы потянулись к выходу, влача в своих неожиданно сильных дланях неожиданно интригующие изделия. Ко времени их выползания во внешний мир у врат узилища собралась небольшая интересная толпа, которая не столько желала забросать освобожденных цветами, сколько стремилась узнать, не притащат ли эти освобожденные нечто ценное из прежде герметичных миров. Инте-

ресная толпа не была разочарована... Мне не хочется переживать эту жвачку, всем и без меня известную, но приходится – эти исторические обстоятельства, хоть и кажутся порой шквалом нелепостей и недопониманий, всё же слишком сильно повлияли на нашу общую и частную жизнь. О чем базар? Половина Кройцберга в те дни щеголяла в красных футболках с надписью «СССР» – эти футболки пользовались дикой популярностью, называли их «Си-си-си-пи», и многие думали, что это остромодное и совершенно абсурдное сочетание звуков. Глядя на нас, крайне молодых, но подземных фриков, местные обитатели воспринимали наши странности (которые ошибочно представлялись нам самым глубоко личным или внутрикомпанейским делом) как гарантию скорого крушения Стены, как обещание будущего объединения Германии, как намек на грядущее возникновение Евросоюза. Не всегда приятно (хотя иногда и выгодно) быть симптомом или символом глобальных исторических процессов и преобразований. Впрочем, книга Эндрю Соломона наполнена чем-то вроде западной праведности и начисто лишена какой-либо иронии и юмора, что даже странно для английского литератора. Уж лучше бы он назвал ее *The Irony Curtain*.

Особой славы она ему не принесла, но зато прикольная слава захлестнула Эндрю в качестве награды за его следующую книгу – «Полуденный демон». Вот эта книга действительно сделалась бестселлером, переведена на множество языков и всё такое прочее. В этой книге наш приятель

Соломон, всегда казавшийся всем нам совершенно ясноглазым, веселым и уравновешенным херувимчиком, вдруг признался, что многие годы его терзала тяжеленная депрессия. Именно эту душевную хворь Соломон и называет «полуденным демоном». В конце концов молодой писатель предпринял масштабное исследование как самого феномена депрессии, так и многообразных способов ее преодоления, практикуемых в разных странах, в различных терапевтических, химических и духовных традициях. Книга заканчивается панегириком прозаку, который наконец-то избавил автора-прозаика от депрессивных мучений. Ядовитая тонкость, скрывающаяся за кулисами этого текста, состоит в том, что отец Соломона – фармацевтический магнат, фабрикант лекарств, сделавший состояние на производстве и раскрутке прозака. Благодаря этому обстоятельству Эндрю долго входил в список самых богатых женихов Лондона и Нью-Йорка по оценке журнала *Forbes*. В конечном счете он заключил брак с приятным бородачом. Через много лет после описываемых событий я получил официальное приглашение на его свадьбу, на пористой бумаге, золотым витым шрифтом, составленное по всем правилам британского официального велеречия (Hereby и т. д.): на пригласительном билете располагалась фотография, где ангельский Эндрю лежит в постели с доброким бородачом и между ними дремлет чудесный адаптированный младенец.



Не собираюсь выплескивать младенца из колыбели вместе с какой-то там (не вполне понимаю, с какой именно) водой, но в книге Соломона «Иронический замок» общение немецких и московских художников в рамках леворадикальной коммуны «Бобоколори» выдержано слегка в духе reality show, по типу «За стеклом» или «Дом-2». Мне это показалось бы в те просветленно-дымчатые годы крайне дебилистическим, но дебиллом был я, а британец оказался прав – хотя почему, собственно, я упорно называю этого автора британцем? Судя по его фамилии, мы с ним принадлежим к одному народу, но нет, не в силах я в это уверовать, как не уверовал бы в это утверждение и румяноликий лондонер. Евреи – понятие абстрактное (к сожалению? к счастью?), однако дымчатость (топазовое дао) защищала нас до поры до времени от бреда отношений, как всегда защищает от гнусного псевдочеловеческого мира широкое и объемное созерцание. Поэтому в течение всего времени, что случилось нам прожить в Западном Берлине (в последний год последнего), пребывали мы, слава Богу, не в мире, описанном депрессивным слогом Соломона, а напротив, в антидепрессивном и даже, пожалуй, райском пространстве, слепленном нежными руками наших берлинских приятельниц и приятелей – мы просыпались на длинных и узких, слегка скрипучих диванах в огромном пространстве бывшего склада, в пространстве дощатом, как старый корабль, где все доски (когда-то, без-

условно, бурые) были выкрашены в белоснежный цвет, а белоснежные или смуглые немецкие руки подносили к нашим едва пробудившимся устам прозрачные кальяны, чтобы каждый из нас (еще не вполне покинув чертоги своих сновидений) смог украсить воздух над скрипучим диванным ложем синеватым плюмажем узорчатого дыма, после чего нас ждал завтрак, уже сервированный в белоснежной скрипучей комнате с заботливостью гиперматериального Карла Ивановича из Вечности (из Толстой Вечности, раз уж мы здесь опираемся вдруг на такую фаллическую колонну, как граф Лео Толстенный).

А кто, собственно, мы? Ну в данном случае это четыре опездола, которые каждую ночь, укуренные в хлам, засыпали в разных углах белоснежного бывшего склада. Сережа Ануфриев, Сережа Волков, Костя Звездочетов и я. Этими четверьмя, естественно, не исчерпывается список московских художников, которые в осень 1988 года решили украсить Западный Берлин своим вальяжным присутствием, но именно упомянутые четверо предпочли в тот период именно тот образ жизни, о котором идет речь. А остальные? Свен Гундлах молниеносно приобрел белоснежное пальто, слегка надутое (или так казалось моим надутым мозгам?). Вадик Захаров выступал в амплуа трепетного гения, слегка тревожного и печального, Никита Алексеев зависал в барах, отчасти похожий на Дэвида Боуи, да и в целом дендированный. Что же касается Володи Сорокина, то он испытывал слабость

к китайским ресторанам. Когда я как-то раз, по прошествии парочки лет, заговорил с ним о нашем общем западноберлинском зависании 1988 года, Володя, обогатив выразительные свои глаза печалью, произнес: «При виде соуса, размазанного по тарелке, прекрасными утопленницами всплывают воспоминания». Лучше писателя не скажешь, а Володя (в отличие от Соломона) писатель самый настоящий, да еще и великолепный. А кто еще там тусовался? Всех не припомню. Никола Овчинников, обожатель берез, хрупкий эльф с телом освенцимского узника и лицом неандертальца, а кто еще? Вообще-то (как я об этом забыл упомянуть!) поводом для нашего пребывания в этом островном городе была выставка, которая состоялась на старом кирпичном вокзале Вестэнд, недалеко от того места, где в начале берлинского эпизода я коченел на садовой скамейке напротив замка Шарлоттенбург, едва не убитый тоской. Выставка называлась «Искусство», и, конечно, нам льстило, что в этом остроумном названии немецкое слово Kunst оказалось в плену русского слова «искусство», как фашистский ефрейтор, увязший в русском клякло-снежном prostranstve.

Выставка наполовину состояла из русских, а наполовину из немецких художников. Я, собственно, в этой выставке не участвовал, а притащился туда сугубо за компанию. А кто еще участвовал? Ну, главным харизматичным фюрером с немецкой стороны была Лиза Шмитц: по-моему, она и придумала выставку, так как перед этим долго залипала

в Москве, производя суровые перформансы на Фурманном, где она всегда была голая (нагота автора играет важную роль в традиции западноевропейского перформанса). Тело Лизы казалось нам, молодым негодьям, чудовищно мощным и древним, да и в целом во всем этом присутствовало поначалу нечто пугающее – кто бы мог подумать, что мне так понравится в Западном Берлине, а точнее, в Кройцберге, в самой богемной и вынесенной его части?

Не так давно (хотя всё же три года назад) я сидел там с Наташей Норд за древесным столиком кафе недалеко от парка, где продают стафф (Гёрлитцер-парк), мимо нас струился поток богемных и псевдобогемных кройцбергских обывателей, позолоченных мистическим светом заката. Я держал в руках камеру, запечатлевая этот поток ради вечности-беспечности, думая: мало что изменилось в Кройцберге, дорогие друзья, хотя город в целом уже не остров, а страна уже не рассеченная пополам территория, а горделивый эпицентр Евросоюза. Да, не так уж сильно изменился дорогой мой Кройцберг, думал я золотой тревожной осенью 2014 года, не зная, что меня самого ожидают катастрофические изменения, что вскоре я отправлюсь в стремительном таксомоторе в зловещий город Белград (Сербия), сойду там с ума и окажусь в белградской психиатрической клинике доктора Воробьева и в результате всех этих прискорбных событий больше, наверное, никогда не увижу улицы Кройцберга, залитые медвежьим закатным солнцем. Прощай, Берлин, шепчу я нынче. Больше, надо ду-

мать, не свидимся мы на земной коре, но нам еще предстоит потусоваться на страницах данных воспоминаний. Когда-то я любил тебя, мой нежный, расхученный бомбежками город над Шпрее, любил твои мосты, твои сосны, твой штафф, твоих девчат в черных скрипучих платьях с длинными танцевальными ногами, но больше не съест мне ночной сладко-кислый штрудель в Шварцкафе на Кантштрассе, да и зачем, ведь ты не узнаешь в моем лице, истерзанном временем, ту детскую мордочку, которую я когда-то скрывал под черной бородой, в иные дни хасидской, в другие – кубинской. Прощай, мой дорогой зеленый Берлин, медвежий город, где прожил я еще множество очаровательных периодов жизни после того, первого, о котором на этих страницах повествую. Мне тебя не вернуть, а тебе не вернуть меня. А впрочем – кто знает? Может быть, мы еще потусуемся вместе, зеленый Берлин. Передавай привет угловатым бронзовым медвежатам на мосту близ Томазиусштрассе, привет кирпичным кирхам, туркам, а также пингвинам и медузам, оголтело молчащим в пещерах твоего заветного царства, называемого магическим словом Цоо. Привет бронзовой и ушастой голове Томаса Манна, торчащей перед стеклянным министерством внутренних дел. Привет нашему солдату в Трептов-парке, пока его еще не переплавили в какой-нибудь прогрессивный брусок, вместе с разрушенной свастикой, патетично раскалывающейся под его сапогом.

Но пока что нам рано прощаться с Берлином, мы воз-

вращаемся к завтракам, изготовленным руками наших друзей, – о западные завтраки! О резервуары мистической свежести, таящиеся в почти запредельном слове «фрюштюк»! О магический отблеск оранжевого сока на белоснежной скатерти! О хруст подогретого хлеба, на чью пористую и золотистую мультизерновую поверхность обрушились элементы царственного сыра или пригожей ветчины! О вращающееся в экстазе яйцо, похожее на инопланетную и облую собачку, гонящуюся за своим хвостом! О вкрадчивый шелест мюслей (мыслей), насыпанных в глубокую тарелку, словно шелест свежееосенней листвы в аллеях Тиргартена!

После завтрака мы снова отдавали должное кальяну, и тут неизменно выяснялось, что у наших друзей уже готов роскошный план дальнейшего времяпровождения: мы сядим в машину Вернера, или в машину Фолькера, или в машину одной из девушек и катились куда-нибудь вдоль октябрьских, а впоследствии ноябрьских улиц – либо в Ботанический сад, где мы раскуривали микроскопическую медную трубку мира прямо в павильонах, пока логика сада смещала нас от влажно-воздушных джунглей к знойным болотцам, к сухим шелестящим и пузатым растениям саванны, и так вплоть до прохладных теплиц, где едва теплился помнящий о вечной мерзлоте ягель, тщетно поджидая в этих холодноватых стеклянных обителях, что обласкают его ненароком мягкие олени губы, что изгрызут его твердые олени зубы. Но мокрожопые муфлоны (если пользоваться подрост-

ковым сленгом культового фильма «Кафе “Донс Плам”», который сняли много лет спустя) сюда не заглядывали – одни лишь мы, отважные и блаженные инспектора, бродили среди орхидей, лиан, лилий, среди болотного бархата и пряных соцветий, бродили до тех пор, пока не пробуждался в нас голод, и тогда мы отправлялись в ботаническое кафе, чтобы обожраться пирожными. Особенно усердствовал в этом деле мой друг и соратник по Инспекции Сережа Ануфриев – ироничные наши немцы прикалывались над ним, подначивая его заказывать всё, чего вождедел его взор, и в результате Сережа оказывался сидящим за столом, полностью покрытым слоем пирожных – охваченный оголтелой радостью безрассудного сладкоеда, он честно пытался сожрать их все, но это было выше человеческих сил. Признать свое поражение, свое дезертирство перед лицом сладкой армии он также не желал, поэтому всячески затягивал трапезу, заставляя нас всех залипать в этом кафе гораздо дольше, чем мы рассчитывали, хитроумно отвлекая нас от бегства мудрыми и остроумными речами, в то время как его воспаленный жадностью и желанием взгляд бесплодно ласкал коричневые спинки эклеров, лежащих в своих приватных гофрированных кроватках из бумаги, он облизывал взглядом ореховые конусы и марципановые завитки, а также шоколадные благоуханно-говнообразные шарики в плиссированных чепцах, но, как я уже сказал, это вождеделение оставалось бесплодным, бессильным, потому что ни одного кондитерского

объекта уже не могло поглотить его обожравшееся тело.

Вчера я встретил Сережу на вернисаже – глядя в его смуглое, но совершенно беззубое лицо, я с грустью думал, что за всё приходится платить: сочетание сладкоедения с боязнью дантистов истребило его зубы, впрочем, надеюсь, вскорости страх будет преодолен, и новая улыбка превратит Сережу из загадочного ассирийского старичка в моложавого Брюса Виллиса, сопряженного с разговорчивым Гурджиевым.

А тогда, тридцать лет назад, его удавалось увести из кафе лишь с помощью иного вожделения – вожделения к ароматному дыму. Мы раскуривались на серо-бетонных отрогах грандиозного шпеееровского стадиона, мы вдыхали дым на гранитных дорожках Цоо, цепenea под наглым взглядом верблюда или лукавым оком слона, мы пыхтели жирными джойнтами на смотровых вышках, возвышавшихся вдоль Стены, – сквозь любимую нами дымовую завесу мы смотрели на другую сторону: там стояли дома, похожие на советские, там в одинаковых окнах социалистические восточные берлинцы вкушали под вечерними лампами свои социалистические сосиски, запивая их социалистическим пивом и не ведая, что они вкушают последний год социализма. Через год рухнет Стена, обрушится масонский циркуль, смятый когтями старого германского орла, похожего на толстую еловую шишку: Германия обретет единство, Берлин обретет цельность. Но осенью 1988 года (две восьмерки, две бесконечности) об этом близком будущем еще никто не знал,

и мы продолжали наслаждаться экзотикой обреченной расщепленности. Частенько мы заходили в заведение, гнездившееся возле самой Стены и носившее гордое и в то же время лаконичное название «Турецко-немецкое кафе». Это заведение располагалось на пустынной улице, где старые трамвайные рельсы уходили под Стену, срезанные холодной бритвой холодной войны. Внутри всё было тоже лаконично и гордо: ядовито-мутный телевизор в углу, квадратные убогие столики, за которыми сидели турки и играли в нарды. В этом кафе можно было заказать только банановый сок – больше здесь ничего не было. Не было даже кофе – только банановый сок. Зато, стоило пригубить бананового сока, к тебе сразу же подсаживался турок с альбомом для собирателей редких монет в руках. Он гостеприимно раскрывал свой альбом – там вместо монет в пластиковых отделениях альбома лежали всевозможные разновидности курительного свойства. Можно было неторопливо выбрать и дегустировать прямо в кафе, отчего воздух в помещении становился так непрозрачен, что трудно было разглядеть певицу из Анкары, чье сладкоголосое лицо маячило в маленьком телевизоре.

В этом кафе мы записали триаду медгерменевтических бесед, которую так и озаглавили: «Турецко-немецкое кафе». Диалоги назывались почему-то в украинском духе: «Шевченко», «Пальченко», «Готовченко». Когда я изредка перечитываю эти замысловатые философские беседы, вкус бананового сока сам собой возникает в моей гортани.

Выставка на вокзале Вестэнд открылась и, кажется, всем понравилась. Во всяком случае, событие получилось, что называется, знаковое, то есть не лишенное некоторой исторической ауры, и собралась довольно большая тусовка всех – а кто, собственно? Величественный и проницательный Боря Гройс в наброшенном на плечи пиджаке, медлительным голосом излагающий глубокие философские конструкции, в сопровождении отнюдь не медлительной кудрявой жены Натальи, весело всех фотографирующей. Американка Джейми Гембрелл, всеобщая подруга. Рита и Витя Тупицыны – Рита черноглазая, как бы тоже американская, Витя высокий, похожий на де Голля, тоже излагающий проницательные и эрудированные философские пассажи необычайным и неторопливым голосом, как бы с легким небесным акцентом. Галерист Натан Федоровский, впоследствии повесившийся у себя в галерее (по другой версии, его убили), скромно-смешливая Сабина Хэнсен, накручивающая на палец свои локоны, веселый, хитроумно заикающийся Бакштейн. Георг Витте. Соломон. Других не помню. Какие-то профессора, галеристы, коллекционеры, журналисты, как водится. Ну и, конечно, главный фюрер мероприятия Лиза Шмитц, женщина добрейшей души, но суровая на вид, не упустившая возможности продемонстрировать публике свое физически крепкое нагое тело.



Сергей Ануфриев и ПП во время инспекции города Западный Берлин. Осень 1988 года

Мы с Сережей Ануфриевым тоже сделали перформанс, максимально идиотский, конечно. Перед публикой мы установили стол, ломящийся от разных яств. Мы сидели за столом перед публикой, как бы что-то рассказывая, но при этом постоянно ели, жевали что-то, из-за чего речь наша становилась почти непостижимой. А может быть, мы ничего не говорили, а только молча ели, – помню смутно. Сережа Волков снимал наш перформанс на камеру, где-то должна быть запись. Он вообще довольно много снимал тогда в Берлине – на этих видео я похож на бородатого бобра, находящегося в полубессознательном состоянии. Хотя Эндрю Соломон в своем романе описал меня как щенка-переростка, громоздящегося за спиной Ануфриева. Так оно и было, вот только был я щенком не собачьим, а скорее лисячьим, который не только прятался за спинами других людей, но еще и заметал свои следы пушистым хвостом.

После открытия выставки мы надолго завили в Берлине, пользуясь гостеприимством и добротой наших новых немецких друзей. Дни мы посвящали «инспекциям», то есть эйфорическим посещениям различных мест и мероприятий, а вечерами и ночами либо сидели в «Бомбоколори», болтая, курия и рисуя, либо тусовались и дэнсили в берлинских клубах, выпивали в барчиках, шляли с девушками по ночным

улицам. Из танцевальных мест того периода вспоминаю особенно дискотеку «Джангл», которую бешено любили наши местные друзья, – в этом заведении, по слухам, ничего не изменилось с 70-х годов: действительно, разнузданный дух 70-х там вроде бы вполне сохранился. Что же касается местечек чисто алкогольного направления, то здесь пальму первенства удерживал бар «Сокс» («Носки»): тесное пространство, где я в какой-то момент свел знакомство с одной отъехавшей, наполовину англо-американской компанией, состоявшей из психоделических прожигателей жизни, избравших Западный Берлин ареной для своего безбашенного и демонстративного существования. Это уже были люди, не имевшие к дисциплинированному арт-миру никакого отношения, скорее модники, денди, глэм-панки, короче, своего рода зародыши, эмбрионы того еще не развернувшегося тогда танцевально-музыкального движения, которое впоследствии, уже в 90-е годы, захлестнуло собою Берлин, обернувшись экстазийными техно-вечеринками, лав-парадами и прочими пестрыми и отстегнутыми мероприятиями столь массового и гигантского размаха, что они разве что в галлюцинаторном сне могли присниться западному берлинцу конца 80-х.

Из этой компании больше других запали мне в душу два персонажа – британский парень по кличке Чикен и девочка по прозвищу Гифт, кажется, австралийка или новозеландка. Оба запомнились мне своей манерой одеваться (хотя Гифт и раздеваться умела неплохо). Глэм-панк Чикен являлся при-

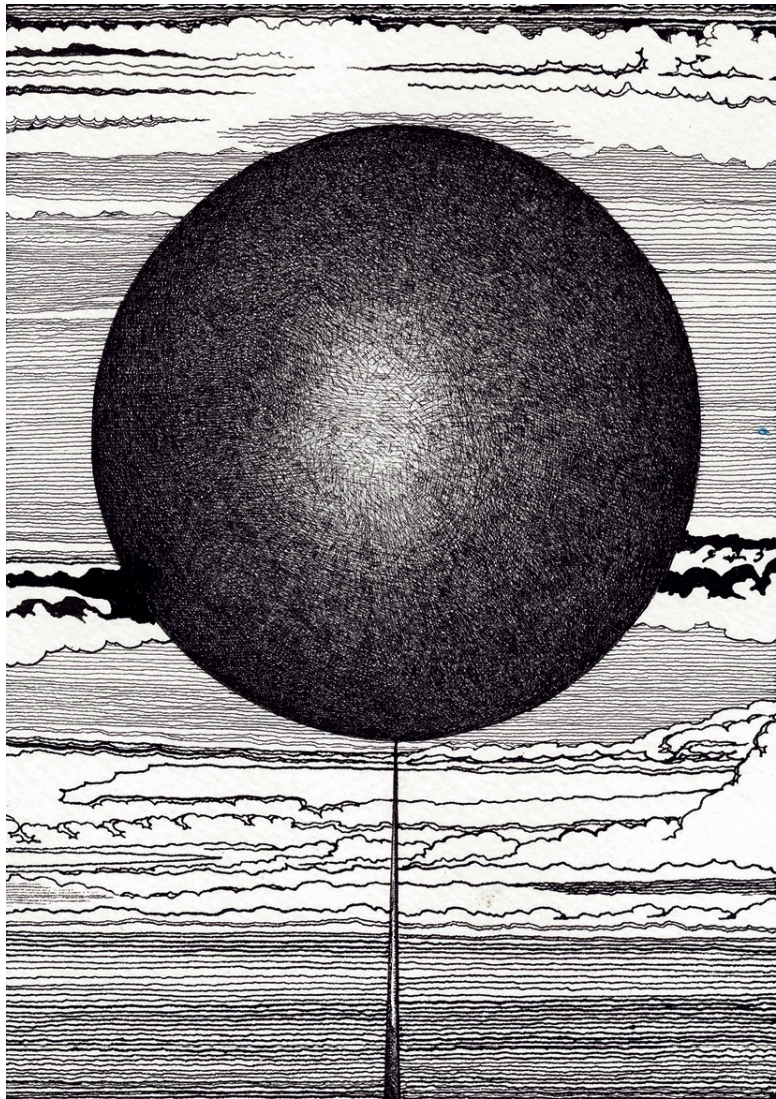
верженцем «принципа кентавра», и этот принцип чем-то задел мое воображение. На практике «принцип кентавра» был прост: истинный модник или модница (по мнению Чикена) должны быть как бы разорваны пополам. Магическая линия на его или ее теле – это линия пояса: все предметы одежды и украшения выше этой линии должны предельно контрастировать с предметами одежды нижней половины. Чикен (впоследствии даже просочившийся в некоторые мои рассказы) соблюдал этот принцип неукоснительно: если он приходил на вечеринку в белоснежной рубахе с кружевным жабо, в узком золотом пиджаке и парчовом жилете, то, естественно, ниже пояса на нем были омерзительные, грязные, чуть ли не рваные и обоссанные джинсы и столь же тошнотворные кроссовки. Родоначальником «принципа кентавра» Чикен считал Чарли из фильмов Чаплина, который выше пояса выглядел клерком, ниже пояса – бомжом.

Если Чикен, будучи мужчиной, был примечателен своими принципами, то девочка Гифт, скорее, поражала их отсутствием. Она зарабатывала на жизнь стриптизом, была красоткой, но легкомысленную свою профессию ненавидела в силу присущего ей бездонного глубокомыслия, которое всем бросалось в глаза, даже при том, что она не была особенно разговорчивой. Желание работать на контрасте объединяло ее с Чикеном (парочкой они, впрочем, не являлись), но если британский оригинал желал быть кентавром, то прекрасная новейшая зеландка тяготела к образу «русалки сточных

вод». Она неукоснительно следила за тем, чтобы ее одежда вступала в контраст с ее красотой. Зеленоглазая и зеленоволосая, она умела находить на блошиных рынках столь неприятные одеяния, что они как бы ранили душу.

Но, естественно, кроме таких изысканных и изнеженных глэм-панков, как Чикен и Гифт, веселый Кройцберг был набит под завязку обычными панками – грубыми гоготливыми викингами и брунгильдами, которые получали глубокое моральное и эстетическое удовлетворение в том числе от кровавых стычек с полицией. Эти стычки происходили регулярно, по определенным дням, и пользовались репутацией местного развлечения: все заранее знали, где и когда должно произойти очередное побоище, и считалось хорошим тоном собраться в чьей-нибудь квартире, чьи окна, а еще лучше – балкон, предоставляли возможность обозревать сражение. Я не обожатель подобных римских зрелищ, но могу засвидетельствовать, что это были настоящие бои, крайне жестокие и остервенелые, занимавшие в жизни Кройцберга такое же почетное место, какое коррида занимает в жизни какой-нибудь испанской провинции. Обе стороны были хорошо подготовлены и тяжело вооружены: никогда прежде, до попадания в Западный Берлин, я не видел столь бронированных и вооруженных копов. В нашем тогдашнем Советском Союзе менты гуляли налегке, в олдскульных синих мундирах, о которых герой Шварценеггера из фильма «Красная жара» (где он сыграл американского копа, переодетого совет-

ским ментом) говорит, что это униформа времен Первой мировой. Вооружение советского стража порядка нередко состояло из одного алюминиевого свистка. После берлинских стычек оставались кровавые лужи на улицах, а еще агрессивный флюид, на некоторое время повисавший в воздухе, – в такие дни можно было с легкостью огрести пиздюлей либо от копов, либо от панков, перевозбужденных невыплеснутой энергией битвы.



Мы с Ануфриевым никогда не попадали под раздачу (видимо, в силу сдержанности, проявляемой нами в отношении алкоголя), а вот Костя Звездочетов казался лакомым фруктом, на взгляд кройцбергского копа, если у того чесался кулак (или, что хуже, чесалась дубинка). Впоследствии выяснилось, что копы других стран разделяли в отношении Кости чувства своих берлинских коллег.

Но благородные инспектора «Медгерменевтики» ни в каком поле не воины (хотя Сережа Ануфриев и гнал порой какой-то малоубедительный базар про «путь воина» в кастанедовском духе). Мы, скорее, были танцующими эльфами, причем танцевали мы не только в клубах и на дискотеках, но даже посещали вместе с нашими берлинскими подругами некую студию «современного» или «свободного» танца, где надо было свободно и телесно самовыражаться посредством спонтанно измышляемых движений – там царствовал некий танцевальный гуру (не помню, как звали), человек физически гибкий и харизматичный, обожатель Гурджиева, конечно. Этот гуру был не на шутку потрясен нашей телесной раскованностью и изобретательностью, решив, что прибыли особенно изощренные танцоры из Москвы, сожравшие стадо белоснежных собак в делах современного танца. Под занавес Сережа Волков и я вскрыли мозг всем присутствовавшим любителям свободного танца, исполнив действительно хорошо отрепетированный и отшлифованный номер – «та-

нец контуженных». Этим танцем мы с Волковым в Крыму вымораживали стремные санаторские танцплощадки, каждую минуту рискуя стать действительно контуженными, и только непроницаемая и окаменевшая серьезность, с которой мы волочили в танце наши внезапно утратившие эластичность тела, спасала нас от избиений. Ну, в Берлине нам в этом смысле ничего не угрожало, если не считать неприятного осадка в деликатных немецких душах, озадаченно спрашивающих себя: не содержится ли в увиденном ими танце нечто недопустимо циничное? Но, к счастью, здесь не было Лизы Шмитц, Бакштейна и прочего начальства, воплощающего в себе принцип насильственного соблюдения корректности, поэтому карие глаза прямодушной и веселой девушки по имени Андреа Зундер-Плазман, устремленные на моего друга Ануфриева, выражали не возмущение, но смешливый восторг.

Этот кареглазый взор не оставил моего друга равнодушным, и именно этот прямой нос, эти темные кудри, эти румяные щеки и улыбчивые губы послужили причиной тому, что, когда все московские гости всё же осознали, что пора и честь знать, и засобирались домой, Сережа Ануфриев к ним (то есть к нам) не присоединился и остался в Западном Берлине еще на несколько месяцев. Это длительное его пребывание в Берлине возымело последствия, которые я (уже зная повадки своего друга) не счел неожиданными. Однако об этом речь впереди.

Короче, чувствовали мы себя в Западном Берлине как дома, и вовсе не потому, что хорошо понимали окружающую нас реальность, а потому, что подобное понимание совершенно не казалось необходимым. Мы, конечно, витали в облаках, да еще в каких! Впрочем, с облаков реальность тоже неплохо видна. В облачном ракурсе, конечно же. В целом наше пребывание в Городе за Стеной оказалось не только эйфорическим, но и продуктивным: мы записали шесть медгерменевтических бесед (две триады: «Звонарь, Мукомол, Пасечник» и «Шевченко, Пальченко, Готовченко») и нарисовали множество рисунков. Ну и, конечно (самое главное!), произвели целый ряд важнейших инспекций. Вот их приблизительный список, с краткими примечаниями:

1. Инспекция Ботанического сада. Этой инспекции (точнее, философским созерцаниям, с ней связанным) посвящен одноименный мой текст, впоследствии претерпевший несколько публикаций.

2. Многоцветная инспекция Зоологического сада (Цоо). Во время одной из этих зоологических инспекций мы с Ануфриевым чуть не сдохли от психоделического хохота, который буквально уничтожал нас изнутри, пока мы наблюдали за тем, как взрослый пингвин (пингвин-мать, по видимости) обучает птенца ходить. Птенец и взрослая особь были одинакового роста, однако младшее поколение было полностью покрыто коричневым пухом и постоянно падало к но-

гам-ластам старшего.

3. Инспекция стадиона, построенного Альбертом Шпеером.

4. Инспекция праздника воздушных змеев. Обожаемый берлинцами праздник (зеленое поле, над ним – десятки парящих змеев) так обрадовал меня, что сделался впоследствии центральным эпизодом моего берлинского фильма «Эксгибиционист».

5. Инспекция оперы Роберта Вилсона Forest – роскошная опера, которую я отчаянно проспал, убаюканный внутренними чарами и красотой зрелища.

6. Многократные инспекции дискотек, баров и клубов («Джунгли», «Носки» и прочее).

7. Инспекционный просмотр фильма «Кто подставил кролика Роджера?» в кинотеатре на Цоо: этот фильм так впечатлил нас (и не только нас!), что мы впоследствии постоянно возвращались к нему в наших медгерменевтических диалогах.

8. Инспекция торжественного ужина в честь участников выставки «Искусство» в квартире некоего берлинского профессора истории. Во время этого светского мероприятия мы (Костя Звездочетов, Сережа Ануфриев и я) предвосхитили образ человека-собаки в творчестве Кулика: мы встали на четвереньки и так расхаживали среди гостей, иногда к ним принохиваясь. Впрочем, в отличие от Кулика, мы никого не кусали, не обнажались, не испражнялись, не лаяли и вооб-

ще вели себя очень по-светски. Несмотря на столь мирное и вежливое наше поведение, некоторые гости всё же оказались шокированы. Эндрю Соломон в своей книге, которую он, увы, не осмелился назвать «Иронический занавес» (что было бы вполне адекватно и сверхиронично), дает весьма недалекое и превратное описание побудительных мотивов, которые якобы сподвигли нас на этот поступок. Его взгляд несвободен от протестантских стереотипов. Нами управляла не логика протеста, но абсурдная психоделическая радость, которая гораздо чище, возвышенней и в конечном счете осмысленнее любого протеста. Кулик же впоследствии, уже в 90-е годы, сделал карьеру с помощью имитации собачьего поведения.

В общем, всё было отлично, пока я не собрался уезжать оттуда, и тут вдруг словно гром грянул среди ясного неба. Внезапно я узнал, что в Берлин вот-вот вернется тот самый дантист, близкий друг моего отца, который столь любезно оказал мне гостеприимство в своей шарлоттенбургской квартире. Я успел начисто забыть о дантисте и о его квартире, оставленной на мое попечение. За всё время, проведенное в Берлине, я ни разу там не побывал. И тут я вспомнил о сложнейшем и необычайнейшем ключе от этой квартиры, который добрый дантист вручил мне с таким пугающим предостережением, какие встречаются в волшебных сказках, – если, мол, потеряешь этот ключ, то знай: конец

всему! Меня пронзило леденящее опасение, что я всё же потерял его. Я стал лихорадочно искать этот ключ, я искал его везде, где только мог, но ключ пропал. Я впал в состояние невыносимого ужаса и паники. Дикий, пронзительный стыд терзал меня. Три дня прошли как в аду. Всем моим друзьям и знакомым показалось, что я сошел с ума: я не мог заниматься ничем иным, кроме маниакальных поисков ключа. Я не мог говорить ни о чем другом. Из жизнерадостного и счастливого мальчика с большой бородой я превратился вдруг в трагическую фигуру Человека, Потерявшего Ключ («Че Пэ Ка», или «Чепчик»). Действительно, какой-то плотный чепчик бреда нахлобучился на мою голову. Я осознавал, что не смогу взглянуть в огромные, добрые, нервные, отчаянные глаза зубного врача и признаться ему, что я (после всех магических призывов и предостережений) всё же посеял его невероятный ключ, доверенный мне столь неосмотрительно. После трех дней нетерпеливых поисков ключа я принял решение, никому ничего не говоря, ни с кем не прощаясь, уехать в Москву, запереться в своей квартире на Речном вокзале, отключить телефон, не открывать никому, отрубить все контакты с миром и жить так, питаюсь запасами гречки, до тех пор пока гречка не кончится. Что я буду делать дальше, после исчерпания гречневого запаса, я не вполне представлял, но, видимо, это должно было произойти нескоро: перед моим мысленным взором четко вставала целая толпа пакетов с гречкой, оставшаяся от моей бабушки. Зачем ба-

бушка аккумуляровала такое количество гречки, я не знал, но запаса должно было хватить надолго.

Спас меня Сережа Ануфриев. В очередной раз я убедился в магических свойствах моего друга и соратника. На исходе третьего дня ЧПК (Чрезвычайного Положения Ключа), когда я в очередной раз метался по пространству «Бомбоколори», Сережа вдруг приподнял голову, оторвал ее от диванной подушки и, не открывая глаз, с трудом шевеля бескровными губами, произнес:

– Посмотри в машине Фолькера, под сиденьем водителя.

После этой с таким колоссальным трудом произнесенной фразы он уронил голову обратно в подушку и снова казался спящим так же крепко, как и три минуты назад. Я тут же нашел Фолькера и мы побежали вниз, в подземный гараж. Самый необычный и неповторимый ключ на свете лежал в машине, на полу, под сиденьем водителя. Я был возрожден! Я больше не был Чепчиком, я снова был эйфорическим персонажем, которого берлинские парни и девчата называли Пашиш за безудержную жадность в адрес дымчатых топазов. За эту вот жадность я и поплатился классическим шугняком, который чуть было не скрыл меня от мира в море гречневой крупы. Я вернул ключ дантисту, сердечно поблагодарил его за гостеприимство и с легким сердцем покинул Западный Берлин.

Закрывая глаза, вижу две сценки, совмещенные (смонти-

рованные, говоря языком Эйзенштейна) в одну: Праздник Воздушных Змеев смонтирован с блошиным рынком. Гигантское поле, где горят костры, где стелется дым от жаровен, от коптилен, от обугленных вурстов и черных каштанов, пекущихся на адских дисках, где висят, как после Освенцима, бесчисленные дамские пальто с засаленными рукавами, где лежат горы сапог в расхлябанных коробках, где среди забытых заколок, перчаток и шляп глаза мои жадно высматривали ржавые фашистские ордена, разложенные на пресных польских газетах, высматривали эти кресты, этих орлов с такой жадностью, с какой глаза Вальтера Беньямина высматривали аляповатых расписных лошадок или забавных скоморохов или матрешек, осыпанных золотой пудрой, продающихся на заснеженных рынках коминтерновской Москвы. Здесь, в Берлине, столько теней оставили на память о себе зеленоватые граненые флаконы, обернутые пылью, где на донце еще рдеют неведомые капли то ли лекарств, то ли парфюмов. Здесь столько опустошенных шкурок, футляров, чепцов. Здесь я купил мерзопакостное пальтишко с огромным сальным пятном на спине, чтобы обольстить этим тошнотворным прикидом хрупкую красавицу Гифт. Здесь юная зеландская панкесса Гифт поднимает овальное лицо свое к небу, здесь зеленые ее волосы сплетаются с дымом, а в изумленных изумрудных ее зрачках плещутся воздушные змеи.

Глава седьмая

Ламбада

Я вернулся в Прагу, а оттуда сразу же уехал в Москву. Здесь уже хрустела глубокая зима. Здесь уже дело подбиралось к Новому году. Некстати вспомнил английский стишок:

Они вернулись к ней зимой,
Когда пришли морозы.
Их шапки были из коры
Неведомой березы.
Такой березы не найти
В лесах родного края.
Береза белая росла
У врат святого рая.

Да, я вернулся из одного потустороннего мира в другой, не менее потусторонний. В этом потустороннем, но безусловно родном и уютном мире собирался meanwhile наступить новый, 1989 год, о котором я еще не знал, что он станет одним из самых невероятных годов в моей жизни, что он будет максимально наполнен чудесами, испытаниями, откровениями, открытиями, закрытиями, скольжениями, трансформациями, наслаждениями, озарениями, изнеможениями, возрождениями, превращениями, нагромождениями блаженств

и скорбей – короче, об одном лишь этом 1989 годе следовало бы написать отдельную книгу, причем книгу такого свойства, чтобы она существовала в единственном экземпляре и вечно возлежала бы в золотом ларце, инкрустированном опалами, бриллиантами, халцедонами, агатами, рубинами, зеленой яшмой, алмазами, хризолитами и чешуйками драконов.

Но пока что этот волшебный год не наступил, и в снежной Москве я, как в пушистый снег, погрузился в медгерменевтическую деятельность. Сережа Ануфриев залип в Берлине в горячих объятиях Андреа Зундер-Плазман (залип в плазме, говорили мы), поэтому главным моим соавтором оставался в этот период Юра Лейдерман, который жил тогда в темном и мрачном домике близ платформы Солнечная: помню, как-то раз мы стояли на этой платформе в черной и морозной ночи – иронично смотрелось название этого полустанка на фоне обледенелой тьмы. Мы стояли там в черных заснеженных пальто под черным небом, поджидая позднюю электричку, и курили редкостные индонезийские сигареты, кем-то подаренные. Экзотический и пряный вкус этих сигарет странно сочетался с зимним ландшафтом, с ощущением открытого космоса, куда медленно и сонно улетала моя голова, снесенная с плеч долой легким индонезийским дымком. Мы разрабатывали тогда доктрину «площадок обогрева», мы тщательно разрабатывали тему «индивидуальных психоделиче-

ских пространств», повисших, как некие батискафы, в океане коллективного галлюцинирования. Один из наших тогдашних текстов назывался «Забытый водолаз» и был вдохновлен анонимным народным стишком, который нам рассказал Сережа Волков:

Возьмем, например, водолаза —
Вдруг воздух перестали качать.
Вы что, наверху, охуели?
Качайте же, еб вашу мать!!!

В образе водолаза, забытого на глубинах, виделись нам заброшенные и агональные народные массы, которых Власти и Господства внезапно перестали снабжать идеологическим воздухом. Следует отдать должное нашей политической интуиции: в текстах того периода, пользуясь трудночитаемым и довольно специальным языком изложения, мы предсказали судороги водолаза, его конвульсии и колыхания, которые тогда еще не замутили поверхности вод. Конец нашего мира был близок, но мы его приход не торопили. Сейчас Юра Лейдерман, как мне рассказывали, недолюбливает всё советское, но тогда мы как бы романтично и трепетно-любовно обращались к уходящему советскому миру:

– Не уходи, побудь со мною...

К этой же проблематике имел отношение и перформанс «Нарезание», который мы провели незадолго до наступ-

ления Нового года. Перформанс проходил в пространстве некоего советского клуба. После, как водится, теоретическо-го вступления Юра Лейдерман стал нарезать хлеб хлеборезкой, укрепляя отрезанные ломти хлеба на длинной доске, на некотором расстоянии друг от друга. Ломти хлеба удерживались в вертикальном положении с помощью гвоздиков. Параллельно нарезанию Антон Носик (младший инспектор МГ), сидя под столом, орал – как бы воспроизводя вопли нарезанного хлеба.

Впоследствии, когда мы с Сережей Ануфриевым писали роман «Мифогенная любовь каст», мы вставили туда описание этого перформанса, изобразив его в качестве галлюцинации главного героя, парторга Владимира Петровича Дунаева. Выяснилось, что нарезан был именно Дунаев, который превратился в Сокрушительного Колобка, затем зачерствел, а потом, мыкаясь хлебным шаром по разоренному врагами Подмосковью, вконец оголодал и стал питаться крошками своего собственного хлебного тела. Постепенно он съел половину себя, а оставшаяся половина была нарезана на ломти: неприкосновенной осталась только горбушка, в которой спала волшебная девочка Советочка. Горбушка, он же Горбач, Горбун, Горбуленция, Горбидзе, Горб или просто Пятнистый, еще восседал на советском троне, Советочка еще пела советские волшебные песни... Когда после перформанса мы возвращались ко мне на Речной вокзал, нам пришлось пережить легкое дорожно-транспортное происшествие: так-

си, в котором мы ехали, слегка врезалось (нарезание, врезание...) в другую машину. Нас тряхнуло. Мы с Лейдерманом продолжали сидеть безучастно, как снеговики, а Антон Носик выскочил из машины и стал орать на провинившегося водителя. Видимо, он по инерции продолжал линию «орущего хлеба». Кстати, хлеб рождается от глагола «орать» (то есть «пахать», возделывать землю).

И вот действительно приблизилась новогодняя ночь! Наступил восемьдесят девятый. Я встретил новогоднюю полночь в такси с тремя прекрасными девушками и прекрасной бутылкой советского шампанского в руках. Мы мчались сквозь тьму, а вокруг расстилались, как сказал Юрий Витальевич Мамлеев, снега, снега, снега... А в снегах – дома, дома, дома... А в домах – окошки, окошки, окошки... Золотые кошки. А в окошках люди, люди, люди... На гигантском блюде. Люди, поднимающие к небу бокалы, увенчанные сладкой советской пеной. Люди, обтрясающие зеркальные шары с тряских смолистых елочек, укутанных шелестящими потоками серпантина. Люди, некстати сотрясающие основы. Люди, некстати испытывающие угрызения совести. Когда-то я мечтал написать два роскошных литературных произведения – «Угрызения сов» и «Сотрясение ос». Эх, не написал! Очень жаль, мистер Паштет, что вы не написали эти необузданно великолепные романы, повести, эссе, а также не удосужились составить сборники остроумнейших и острогалантных анекдотов! А ведь я еще хотел написать роман «Воло-

сатая кость манго»! Написал? Нет, не написал. Да вы просто хрустящий лентяй и селадон, мистер Паштет, потому что вы изволите мчаться в позднесоветском такси с тремя стройными европейками навстречу празднику, который должен состояться в кафе «Вареники». Это бандитского типа кафе мой друг и младший инспектор МГ Илюша Медков целиком арендовал на потеху наших душ и тел специально ради встречи Нового года: там мы танцевали до упаду. Я танцевал со своей приятельницей в тот миг, когда ко мне приблизилась пьяная в жопу Маша Чуйкова, жена Ануфриева, и тут в ней вдруг прорезался пророческий дар. Указав на другую девушку, находившуюся поодаль от нас, она заявила: «Ты будешь с ней». Она оказалась права. В мае наступающего года я влюбился в ту девушку, на которую Маша указала своим алкоголическим пророческим пальцем. А девушка влюбилась в меня. Жили мы с ней долго и счастливо, а расстались потом еще дольше и очень мучительно.

Зимой мы (то есть «Инспекция МГ») показали несколько достаточно принципиальных объектов на выставке «Дорогое искусство», которая состоялась во Дворце молодежи, гигантском бетонном сооружении с множеством переходов и закутков. В частности, мы выставили объекты «На книгах», «Товарная панель при легком искажении» и «Для мужского и женского сердца». Вскоре подоспел и русский номер «Флэш Арта» – собрали его Рита и Витя Тупицыны. Там был большой материал о МГ: диалог Тупицыных с нами, а также

текст Миши Рыклина. Специально для номера мы сделали арт-проект «Шлифовка маленьких ляров» – это была фотография холеного кота Иосифа, который принадлежал Маше Константиновой (она его обожала). На фотографии кот лежал на черном бархате, а перед ним был положен напильник.



Старшие инспекторы МГ: Юрий Лейдерман, ПП и Сергей Ануфриев, 1987 год

После этого кот Иосиф был официально принят в состав «Медгерменевтики» в звании младшего инспектора. Мы тогда как раз занимались составлением книги «Младший инспектор» и попросили Иосифа Бакштейна написать текст от лица кота (раз уж Бакштейн и кот оказались носителями одного имени – Иосиф), посвященный вступлению мягкого и пушистого животного в ряды Инспекции. Бакштейн блестяще справился с поставленной задачей. Кроме кота младшими инспекторами МГ на тот момент являлись Антон Носик, Илья Медков, Маша Чуйкова и Игорь Каминник. В младшие инспектора МГ в тот период была также зачислена Настя Михайловская, но ее участие в инспекционной деятельности продлилось недолго. Настя, обладательница расслабленных повадок и низкого хрипловатого голоса, сожительствовала главным образом с моим приятелем Игорем Зайделем. «Иногда мне кажется, что я живу с Раневской», – говорил он, имея в виду ее голос.

Мы с Лейдерманом написали тогда серию псевдоэпистолярных текстов, объединенных под названием «Подметные письма МГ». Первым было письмо Ануфриеву. Соскучившись по коллеге-инспектору, забывшему о своем инспекционном долге, мы написали письмо, отчасти по-английски, но русскими буквами:

Дeар Сeрьoжeнeкa!

Лeтc смoук вaнc мoр! Лeтc дeнc лaйк Шивa! O Андpea, ю

лук лайк Будда Майтрея...

И так далее. Письмо заканчивалось строгим призывом:

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШЕГО НЕБЫТИЯ (срочно!)

Между тем мне предстояло нешуточное испытание. Собираясь официально оформить свое возвращение в Москву (до этого я числился на ПМЖ в Праге), я решил провести некоторое время в психиатрической клинике, чтобы в дальнейшем оградить себя от армейских вопросов. В этом деле мне помог мой друг-психиатр Вадим Молодой, чудеснейший и очень отзывчивый человек, который, кстати, и Сереже Ануфриеву очень помог за несколько лет до этого, еще до того, как мы с Сережей подружились. Одесские конторщики решили жестоко наказать Сережу за хиппизм, за квартирные выставки левого искусства и за уклонение от службы в армии. Не сообщив ничего Сережиной семье, сотрудники органов молча вывезли его из Одессы в Москву и поместили в самое суровое карательное отделение Кашенко, где людей быстро превращали в овощи. Жена Сережи, Маша Чуйкова, обратилась за помощью к Молодому, и благодаря его связям они вскоре разыскали Сережу в Кашенко. К моменту его обнаружения он уже никого не узнавал, его закололи галоперидолом: он не мог даже есть, у него отключился глотательный рефлекс – еда вываливалась изо рта. Вадим Молодой выта-

шил его из этой глубокой жопы.

Я знал Вадима давно, с детства. Он был фанатом моего папы: собирал книжки с его иллюстрациями. Я часто ездил к нему в гости играть с шахматным компьютером (редкий цимес по тем временам). Вадим был обожателем К. Г. Юнга (что и не странно: они практически однофамильцы) и часто подсовывал мне различные труды Карла Густава Ю., которые весьма импонировали моему подростковому сознанию. Вадим (обладатель незаурядного отчества Амиадович) был врачом-джентльменом: вполне молодой (согласно своему имени и имени своего цюрихского кумира), но необычайно солидный, всегда облаченный в сверхаккуратный костюм-тройку, покуривающий трубку, всегда спокойный, как бы даже слегка застенчивый, живущий вместе с женой и маленьким сыном в совершенно упорядоченной квартире, где невозможно было себе вообразить ни единой пылинки. Впоследствии он оставил психиатрию, эмигрировал и, по слухам, занимается в Канаде проблемами экуменической церкви. Возможно, он даже стал священником объединенной религии (его когда-то, как и многих других, сильно впечатлил отец Александр Мень). Спасибо вам, дорогой Вадим Амиадович, за ваше сдержанное и добродушное участие в моей судьбе, за мудрые слова, произносимые как бы слегка застенчиво, но с должной (отчасти вопросительной) настойчивостью, за действенную помощь.

Молодой пристроил меня в клинику под названием

«Центр психического здоровья» (ЦПЗ) на Каширском шоссе. Клиника располагалась рядом со знаменитой и пугающей «пятнашкой» (психиатрическая больница № 15), где в начале 80-х годов лежал Андрей Монастырский, и это обстоятельство дало имя его величайшему роману «Каширское шоссе» – в 1989 году этот роман был известен только близким друзьям Андрея, но для нас, членов «Медгерменевтики», уже тогда являлся одной из священных книг МГ наравне с «Анти-Эдипом», «Волшебной горой», «Железной флейтой», «Толкованием сновидений» и «Путешествием на Запад». А прочие священные книги МГ? Вот небольшой список:

«Записки Шерлока Холмса»

«О чем не говорил Конфуций»

«Круглое окно»

«Моби Дик»

«Тигр под наркозом»

«Алиса в Стране Чудес»

«Человек без свойств»

«Эти загадочные англичанки»

«Книги нашего детства»

«Повести о лисах и оборотнях»

«Дар орла»

«Исторические корни волшебной сказки»

«Функциональная асимметрия долей головного мозга»

«S/Z»

«Исповедь англичанина, употреблявшего опиум»

«Капитал»

«Центр циклона»

«Колымские рассказы»

«Питер Пэн»

«Мифологии»

«Муми-тролль и шляпа волшебника»

«Муми-тролль и комета»

«Волшебная зима»

«Гамлет»

«Федорино горе»

«Бибигон»

«От двух до пяти»

«Крокодил»

«Случай с крокодилом»

«Чебурашка и крокодил Гена»

Русские сказки

«В поисках утраченного времени»

«Речные заводи»

«Сон в красном тереме»

«Записки у изголовья»

«Джейн Эйр»

«Властелин колец»

«Клиническая психиатрия»

«Египетские ночи»

«Гарантийные человечки»

Лолита, Лигейя, Люцинда. Мустанг-иноходец. Страх и трепет. Бытие и время. Шум и ярость. Ветер и поток. Буря и натиск. Война и мир. Смех и хохот. Лед и пламя. Слон и ступор. Сырое и вареное. Красное и черное. Уличные и домашние. Преступление и наказание. Чук и Гек. Ноздрев и Плюшкин. Гаргантюа и Пантагрюэль. Пан и Пропал, Сухое и Мокрое, Моча и Гавно, Меч и Город, Ромео и Джульетта, Слова и Вещи, Я и Оно, С минусом единица, Один и другие боги, Один дома, Однажды в Америке, Два капитана, Три мушкетера, Три смерти, Три толстяка, Знак четырех, Сердца четырех, Пять прикрытий, Шесть шестерок, Семь самураев, Девять рассказов, Десять негритят, Десять лет спустя (штаны), Одиннадцатый этаж, Двенадцать стульев, Тринадцать трупов, Четырнадцать монахов, Пятнадцатилетний капитан, Двадцать лет спустя (штаны), Тридцать отрубленных голов, Сто лет одиночества, Тысяча и одна ночь, Миллион ошибок, Золотой миллиард, Числа-Великаны, Множество Мандельброта, Интегральное исчисление...

Бесчисленные звезды сияют на текстуальном небосклоне МГ, но ярким светом светит среди них «Каширское шоссе», освещая мне путь к воротам дурдома, куда мне, конечно, боязно было вступать в 1989 году (мне всё еще 22 года, хотя кажется, что со времени Западного Берлина унеслась целая вечность). Чтобы смягчить страх перед добровольным засе-

лением в дом скорби, я накурился в сисю с Настей Михайловской и Зайделем и в таком виде явился на госпитализацию.

– Борода – первый признак нашей болезни, – ласково сказала нянечка, забирая мою одежду, глядя на меня с неким загадочным одобрением, выдавая мне вместо моей одежды коричневую вельветовую пижаму, в карманах которой я потом часто носил орешки, конфеты и узбекскую курагу (на дурке постоянно хотелось есть). Какой именно «нашей болезни»? Депрессии, на которую я жаловался? Шизофрении? Старости? Следуя доброму совету Вадима Молодого (инкарнация К. Г. Юнга), я заявил, что испытываю панический ужас в отношении ровесников. Поэтому меня (по любезному распоряжению заведующего Мазурского) поместили в отделение, где, кроме меня, все были стариками. Обитали здесь несколько человек среднего возраста (сорок-пятьдесят лет), но они пребывали в меньшинстве, основной же массе пациентов уже перевалило за шестьдесят. Совет доктора Юнга предпочесть старость молодости (в данном случае) оказался гениальным: пожилых лечили другие врачи, никто не подозревал меня в попытках уклониться от воинской дисциплины, к тому же круг общения в пожилом отделении сложился превосходный. Тем не менее поначалу меня здесь многое смущало и пугало. Но в то же время я вдруг ощутил во всей этой стремной дурдомовской реальности нечто странно-мистическое, нечто мистериальное. Догадка стала брезжить в

моем мозгу, что я вовсе не затем здесь, чтобы избавить себя от воинской службы, а ради чего-то совершенно иного. Этот дурдом был предбанником, он был шлюзом, он был чем-то вроде проходного пункта... он был преддверием, порталом. Вы чувствуете уже здесь юнгианские дела? Не зря переведенный доктор Юнг отправил меня сюда, высказываясь с интонациями застенчивыми и мистически твердыми.

Мне сообщили, что я займу место в пятой палате, и сестра с абсолютно прямой спиной, с бледным волосяным пучком на затылке проводила меня. По пути нам встречались прозрачные, но замкнутые двери. Сестра всякий раз извлекала из кармана халата не ключ, но белую пластиковую дверную ручку, вставляла ее в гнездо, поворачивала, затем выдергивала и убирала обратно в карман. Весь персонал ходил там с дверными ручками в форме буквы «Г» в карманах. Сколько белоснежных свастика можно было бы сложить из этих дверных ручек?

Когда я вошел в палату номер пять, я смог убедиться, что это довольно просторная и неплохо выглядящая комната, рассчитанная на четырех человек. Четыре кровати в тот момент пустовали, у окна стоял довольно широкий письменный стол, над которым горела настольная лампа – единственный в тот момент источник света в этой комнате. Седобородый старец сидел за столом, освещенный сбоку вечерней лампой. Больше в комнате никого не было. Перед старцем

лежала крупная Библия, иллюстрированная гравюрами Доре, раскрытая на картинке «Адам и Ева в райском саду». Рядом стояла баночка с черной тушью. Тонким пером он переводил иллюстрацию на прозрачный лист кальки. Старец поднял на меня глаза, слегка воспаленные кропотливой работой. На сумасшедшего он был совершенно не похож, напротив, выглядел спокойным и умудренным, погруженным в свое прилежное, благородное, смиренное дело.

– Валентин. – Он с достоинством назвал свое имя с прибавлением фамилии, которую я из учтивости не стану называть. И прибавил:

– Художник.

Я сказал, что меня зовут Паша Пивоваров и что я тоже художник.

– Не Виктора ли Пивоварова сын? – спросил старец.

Я кивнул. Выяснилось, что он бывал в мастерской моего папы. Между нами завязалась беседа – степенная, чинная, как будто встретились мы не в сумасшедшем доме, а на каком-нибудь чрезвычайно умиротворенном симпозиуме. При этом меня не оставляло ощущение чего-то резко-мистического, разлитого в воздухе этой полупустой палаты. Видимо, так действовала магия текста Монастырского – я оказался в клинике на Каширском шоссе, то есть я как бы провалился внутрь романа «Каширское шоссе», написанного Андреем. Из-за этого седобородый художник казался мне временами Богом Отцом, решившим повторить с помощью кальки свой

смелый эксперимент по созданию Адама и Евы. Но в последующие дни я подружился со старцем Валентином, и он перестал казаться мне похожим на Бога.

Влияние прозы Монастырского быстро вытеснилось влиянием психотропов и транквилизаторов, которыми здесь меня потчевали в избытке. Валентин оказался прекрасным человеком, к сожалению, очень страдающим от депрессивно-маниакальных состояний. Судя по его рассказам о себе, болезнь настигла его вскоре после того, как он обрел веру (в этом смысле аналогия с Монастырским оправдала себя). Обратившись к православию, он стал ездить по монастырям, беседовать с монахами. Всё было хорошо до тех пор, пока один монах не вздумал запретить ему (пользуясь строгими оборотами речи) две вещи: курить и материться. Валентин был настроен на послушание, он ни в коем случае не ставил авторитет монаха под сомнение, но тут он с ужасом убедился, что не может соблюдать предписание, не может отучиться от мата и курения. Напротив, после этого он стал материться и курить неистово, остервенело, постоянно. Это уничижило его в собственных глазах. Он мучился, и эти мучения вкупе с его духовным бессилием (как он это называл) и составляли его болезнь. Корабль его духовного опыта натолкнулся на мину – на взрывчатую триггерную точку. Может быть, на две мины? Две триггерные точки? Скорее всего, всё же это одна и та же точка, поскольку оба греха (мат и курение) связаны с оральной зоной, с деятельностью рта, оба

представляют собой разновидности того, что когда-то называлось в православии словом «гортанобесие». Я тогда зачитывался Фрейдом (несколько книг Фрейда и Юнга я взял с собой в больницу), поэтому я пытался сообщить ему нечто о структуре невроза, пока мы сидели с ним в курилке, где он терзался жуткими угрызениями совести, одновременно громя на мои юные уши тонны самой что ни на есть скверной и изощренной матерщины и жадно втягивая суровый беломорский дым. Мои двадцатидвухлетние глаза, только что видевшие в этом старике Бога, теперь созерцали в нем зимнюю иллюстрацию к Фрейду: старческий регресс к вытесненной оральной фазе, ужас перед бессознательным желанием матери (мат в этом контексте не нуждается в комментариях, что же касается запретного табачного дыма, то это инверсия святого материнского молока). Мои нелепые попытки выступить в качестве психоаналитика-любителя терпели каждый раз головокружительное фиаско, в ответ на мои рассуждения старик только кряхтел, скорбел или, напротив, неожиданно хихикал, притом мог вдруг отмочить такой сочный, циничный и похабный анекдот, что впору было засомневаться в том, что этот человек так уж задавлен внутренней цензурой. В любом случае его трогало мое небезразличие к его психосудьбе и мы очень дружили.

В целом в нашей палате установилась крайне положительная и дружественная атмосфера, настолько приятная, что нас вскорости стали ставить в пример всему отделению. Двое

других соседей по палате номер пять оказались не менее замечательными людьми. При этом внешний их вид и все повадки казались на первый взгляд подчеркнуто обычными. Первым был молодой (по понятиям нашего старческого отделения) грузин, невысокий смуглый мужчина лет сорока пяти, с черной щеточкой усов под характерным носом, изъяснявшийся с тем самым акцентом, который известен всем по грузинским анекдотам. Да он и сам казался персонажем из этих анекдотов. Это был классический симулянт, но в глубине его простой симуляции теплилось психопатологическое зерно. Приехав из Грузии в Москву, он поначалу решил зарабатывать рабочим на стройках, но вскорости ему надоело быть рабочим (по его словам, ему казалось, что работа на стройке «вредна для здоровья»), и он решил, что здоровее изображать сумасшедшего. Сам себя он считал стопроцентным обманщиком и хитрецом, но врачи не разделяли его мнения – они видели в нем безумца. И, наверное, не ошибались. Думаю, работать на стройке в тысячу раз здоровее, чем мариноваться на дурке, где всех нас пичкали чудовищной химией, отчего глаза у нас были как красные фонари. Однако женщины, работавшие в нашем отделении (медсестры, няньки, поварихи и прочие тетki), не согласны были с мнением врачей: они видели в Гиви (назовем его так) не сумасшедшего и не симулянта, но грузина – чернобрового и черноусого красавца-мужчину, и они млели от его кавказского шарма. Из этого проистекало множество бонусов и эксклюзив-

ных привилегий, которыми Гиви охотно делился с нами, его друзьями и соседями по палате, а наша палата вскоре превратилась в спаянную и дружную шайку, практически установившую контроль над отделением. Начать с того, что Гиви (единственный из пациентов!) наравне с персоналом тоже носил в кармане такую же точно белую дверную ручку, одновременно являвшуюся ключом почти от всех дверей. Поскольку Гиви проникся ко мне величайшим уважением, в любой момент я мог эту ручку-ключ у него одолжить для своих нужд. Даже когда Гиви спал, я имел право выудить ручку у него из кармана и отправиться шастать по больнице (для чего мне это было нужно, расскажу в свое время). Во-вторых, Гиви был вхож на кухню под предлогом физической помощи кухонным теткам (он переносил тяжести, выносил кухонные баки, выбрасывал мусор, обсуждал заготовку продуктов). Из этого вытекали не только некоторые преимущества в области пищевого довольствия, но и гораздо более важная привилегия – возможность варить на кухне чифирь. Гиви был виртуозным мастером изготовления этого напитка и готовил такой божественный чифирь, что, наверное, мог посрамить всех сомелье во всех тюрьмах и дурках тогдашнего СССР. Вскоре в нашей палате была открыта чифирная, куда многие пациенты нашего дурдома мечтали попасть, но далеко не все удостоились такого счастья. Входным билетом были приятельские или взаимовыгодные отношения с одним из нас четверых, обитателей палаты, плюс умение играть в

шахматы, потому что чифирная существовала под вывеской шахматного клуба, который был в нашей палате учрежден (это была моя идея, и она себя оправдала). Короче, вскорости все пациенты нашего отделения, все пожилые и полуживые, в ком еще сохранилась некая социальная прыть, мечтали попасть к нам. Потому что, кроме чифиря, шахмат и великосветского общения, наша палата обладала еще одним невероятным бонусом – бонусом, который скрасил вечера многим обитателям старческого отделения. Но об этом речь впереди.

Сначала надо рассказать о последнем нашем сопалатнике, вошедшем, вольно или невольно, в нашу «банду четырех». Звали его Зубов, имя и отчество не припомню. Это был обычный инженер позднесоветского типа, то есть лет пятидесяти шести или семи, обабившийся, рыхлый, с мягким капризным лицом. История его попадания к нам звучала (в его собственном исполнении) следующим образом... А впрочем, начать следует с того, что эта история обладала названием. Она называлась «Что-то не то».

Что-то не то

Николай Сергеевич Зубов прожил, по его словам, совершенно обычную и заурядную жизнь: жена, работа, дочка... Как-то раз, за пару лет до нашей встречи в палате номер

пять, Зубов с женой отправился в заслуженный отпуск, в какой-то южный санаторий, где он уже не раз бывал. Всё было как всегда, они приехали, поселились, прогулялись, поужинали и легли спать. Но на следующее утро Зубов проснулся со странным чувством. Это чувство описывалось словами: что-то не то. Он терпел до вечера, терпел и следующий день. Всё было как всегда, но ощущение «что-то не то» не исчезало. Зубов мучился невероятно, он не мог понять, что именно не то. Но что-то было не то. На исходе третьего дня он сказал жене: «Что-то не то. Давай возвращаться в Москву». Они вернулись, вышли на работу, раньше времени прервав свой отпуск. Но что-то всё равно было не то. Зубов страдал до тех пор, пока в журнале «Огонек» ему не попалась на глаза статья под названием «Когда свет не мил». Это была статья о депрессии. И хотя Зубов вовсе не страдал депрессией, статья эта словно бы зажгла яркий свет в его сознании. Он вдруг понял, что именно «не то». Он осознал, что просто-напросто сошел с ума. Как ни странно, это осознание сделало его счастливым. Он немедленно лег в нашу больницу и, кажется, не собирался ее покидать. Здесь, как он чувствовал, всё было «то». Насколько я помню, он почти всегда пребывал в отличном расположении духа, был очень ровен, спокоен, общителен, доброжелателен и даже весел, и единственная мысль, которая иногда его печалила, состояла в том, что его недостаточно лечат. Вообще-то он с восхищением относился к нашим врачам и к нашей клинике, но иногда, в мо-

менты подозрительности, ему казалось, что он обделен какими-то препаратами или процедурами. Поразительно, что постоянным предметом его неудовлетворенных вожеланий являлась электросудорожная терапия (сокращенно ЭСТ), то есть Зубов постоянно стремился к чрезвычайно жуткой и мучительной процедуре, когда электрический ток пропускают через голову пациента (обыграно во многих триллерах, в том числе в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»). На каждом обходе он донимал врачей своими просьбами пропустить через его голову электрический ток, но врачи отнекивались: «Сердечко у вас так себе, Николай Сергеевич. Кардиограммки шалят». Услышав такое, Зубов огорчился и сидел на своей аккуратно застеленной кровати, как стожок среди снежного поля. Выглядел он при этом настолько душераздирающе, что врачам становилось его жаль и они подбрасывали ему надежду: «Ладно, Николай Сергеевич, посмотрим, поглядим. Может, в следующем месяце сделаем вам ЭСТ. Если кардиограммки хорошие будут». И мягкое лицо Зубова расцветало улыбкой детской надежды.

Да, такие вот подобрались люди в нашей палате: старец Валентин, симулянт Гиви, инженер Зубов и я. Были и еще в отделении яркие персонажи. Первая палата была тяжелой. Там находились пациенты, склонные к припадкам серьезной невменяемости. Невозможно не вспомнить одного грузина – невероятно длинный и тощий старик, иссохший, как старая

кость, по прозвищу Дон Кихот. Он был действительно невероятно похож на Дон Кихота из грузинского фильма, и, как настоящий идалго из Ламанчи, страдал припадками боевого исступления, когда сокрушал всё вокруг себя. В первой палате постоянно дежурила сестра, готовая в любой момент вызвать санитаров «на вязку». «Вязками» называлось связывание пациента. Это приходилось часто предпринимать в отношении Дон Кихота, поскольку он, как и пристало этому литературному герою, существовал в реальности каких-то древних войн, каких-то средневековых поединков. Русским языком он не владел или забыл его, поэтому единственным человеком в отделении, который мог говорить с Дон Кихотом, был наш симулянт Гиви. Каждый раз после приступа Гиви вызывали в первую палату, чтобы он убаюкал древнего рыцаря родными разговорами. Несколько раз я присутствовал при этом. Зрелище было не из легких: Дон Кихот, как поверженная колонна, лежал на койке, связанный по рукам и ногам, его острое древнее лицо торчало, как горный хребет, а рот был вулканом, изрыгающим яростные грузинские крики и бормотания. Глаза его сверкали яростью, которая медленно гасла под воздействием вколотых ему успокоительных препаратов. Он угрожал расправой невидимым врагам. Рядом с ним сидел симулянт Гиви и ворковал по-грузински нечто транквилизирующее, точь-в-точь верный Санчо, утешающий своего больного господина.

Из оживших литературных персонажей были еще Бобчин-

ский и Добчинский: иначе их и не называли. Два кругленьких убогих старичка, которые намертво сдружились и образовали неразлучную пару. Они общались только друг с другом. Это было старческое гомосексуальное чувство, которое обретало свою эротическую реализацию в акте совместного параллельного сранья. Они всегда ходили в сортир вместе, занимали соседние кабинки и, сидя на нужниках, переговаривались через тонкую перегородку, обмениваясь впечатлениями: «Ну как, пошло?» – «Кажется да, сейчас пойдет... на подходе...» Поскольку курилка, где все постоянно сидели, куря и общаясь, представляла собой предбанник туалета, всем курильщикам (а курили в отделении все пациенты, кроме Бобчинского и Добчинского) приходилось слушать их анальные откровения. В отделении Бобчинского и Добчинского слегка презирали, считая слабоумными. Но я не припомню, чтобы кто-нибудь оскорблял их или как-нибудь подкалывал. Можно с легкостью себе представить, какая бешеная травля, сопровождающаяся самыми выстегнутыми издевательствами, ожидала бы этих людей в юношеском отделении, если бы они были молоды. Но у стариков, к которым я так удачно примазался, были приняты мягкие и снисходительные нравы. Сейчас мне это даже кажется удивительным.

Какие еще встречались личности? Был человек, который шел в Люблино. Небольшой, пожилой, с отсутствующим выражением лица, он постоянно перемещался по коридорам. Время от времени он подходил к тому или иному челове-

ку и вежливо спрашивал: «Вы не подскажете, как пройти в Люблино?» или «Вы не знаете, где останавливается автобус, который едет в Люблино?» Отвечали ему по-разному. Один раз он забрел в нашу палату, вошел в наш платяной шкаф и стоял там, держась за перекладину, на которой висели вешалки. На вопрос, что он там делает, он, естественно, ответил, что он в автобусе едет в Люблино.

Врач Романов, заметивший, что я читаю «Психопатологию в обыденной жизни» Фрейда, зачислил меня в раздел пациентов, интересующихся вопросами психиатрии (не знаю, попадал ли до меня кто-нибудь в этот разряд). После этого мы иногда обсуждали с ним случаи из его клинической практики. Потом он как-то раз даже сказал, что некоторые мои замечания помогли ему в работе над научным текстом, над которым он корпел в этот период. Как-то раз он спросил меня, что я думаю о случае «человека, стремящегося в Люблино».

– Он просто ищет любви, – ответил я легкомысленно.

Этот ответ понравился Романову (он в целом был довольно впечатлительным парнем). «Ты просто ищешь любви», – говорит старуха из моего любимого фильма *The Night of the Hunter* («Ночь охотника»), отвечая на вопрос девочки: «Почему я всё время развратничаю с парнями?» Тогда, в 1989 году, я еще не видел этого фильма. Не видел, не знал, но уже любил. Такова тайна любви.

Речь идет о вещах серьезнейших: о любви и о тех пред-

ощущениях, которые неразрывно связаны с состоянием любви. Фрагменты любимых мною фильмов я часто видел в своих сновидениях до того, как лицезрел сами фильмы. Точно так же я часто рисовал лица возлюбленных мною девушек до того, как мне случалось их встретить на земных путях.

Был еще персонаж по кличке Гумилев. Этот знал наизусть все стихи Николая Гумилева и постоянно читал их вслух. В общем, в том дурдоме я убедился, что литература обладает нешуточным влиянием на сознание людей, что укрепило меня в чистосердечном и милосердном намерении быть писателем. Изобразительное искусство также волновало мир людей, и это укрепило меня в чистосердечном и милосердном намерении быть художником. В преддверии праздника 8 Марта меня назначили командиром над целой бригадой, состоявшей из ветхих старцев. В нашу задачу входило художественное оформление больницы в свете приближающегося Дня Женщин. Валентин из пятой палаты, профессиональный художник со стажем, внезапно высокомерно отказался от участия в этом проекте, но остальные – *we did our best!* Женщины дома скорби, старые и молодые, красавицы и уродки, врачихи, поварихи, медсестры и пациентки – все остались довольны!

Да, литература и изобразительное искусство цвели, но еще больше развлекали и утешали сериалы – каждый вечер все (даже самые ветхие, даже самые безутешные) собирались в телевизионной комнате, чтобы следить за похождениями

ями рабыни Изауры: тогда весь угасающий Советский Союз как один человек наблюдал за судьбой этой мексиканской рабыни. Я тоже желал наблюдать за рабыней, я тоже занимал место перед тусклым цветным телевизором, но стоило мне устроиться поудобней, как безжалостный химический сон начинал склеивать мои веки. Между тем спать воспрещалось (пока не наступит отведенный для этого час), и бдительные медсестры следили за тем, чтобы люди не спали, но ответственно переживали за рабыню. О, как бы мне хотелось стать не только лишь писателем и художником, но также режиссером, снимающим сериалы, – тогда уж точно простились бы мне мои грехи, потому что трудно вообразить себе более милосердное и человеколюбивое дело: не сосчитать, сколько жизней продлилось из одной только любознательности, дабы разведать, что случилось далее с любимыми героями. Никакой пенициллин, никакой амитриптилин не продлил столько жизней!

Но надежда умирает последней! Maybe я еще сниму сериал – черно-белый, визуально-выпуклый, по-родченковски четкий, по-хичкоковски емкий, просветленно-зловещий, эйфорически-мрачный, метафизический детектив о похожих в дениях хрупкой инопланетянки, сделавшейся наложницей французского короля Людовика Шестнадцатого, который теряет шестнадцать своих золотых голов на якобинской гильотине (шестнадцать золотых груш!), но, потеряв все свои ароматные головы, он возрождается большим марксистом на за-

ре Великой Зимы, на заре Вечной Революции... «Зима близко!» – говорит род Старков любимого мною сериала «Игра престолов». Если бы вы только знали, как я благодарен создателям этого сериала (и клану Старков, хотя в целом мне ближе Таргариены) за эти слова!

Как-то раз мы беседовали с доктором Романовым в его кабинете. Я – пациент, он – лечащий врач. По ходу нашей беседы он делал какие-то заметки в большом блокноте, напоминающем амбарную книгу. Может быть, это и была амбарная книга? Дорогие читатели, вы ведь даже не подозреваете, как сильно я любил амбарные книги! За силу этой любви я могу претендовать на звание агрария, хотя никогда не водил комбайн, никогда не копался в грядках, никогда не мчался на тракторе вдоль раздольных яблоневых садов... Вдруг Романова вызвали по срочному делу. Я не удержался, перегнулся через его письменный стол и навис над амбарной книгой. Я успел прочитать фразу «Разговаривая, вычурно жестикулирует обеими кистями рук, хотя его голос остается тихим, а интонации нейтральными». Еще бы им не быть нейтральными!!! Мне каждый день делали мелипраминовую колбу! Это, пожалуй, было самым мучительным в ассортименте эффектов, предлагаемых мне этим медицинским учреждением: лежать целых сорок минут с иглой в вене, следя за тем, как бесцветная жидкость, не обещающая ничего хорошего моему организму, медленно вливается в мое тело. Да, это было мучительно, но я стоически претерпевал это дело, по-

чти с таким же стоицизмом, с каким Ганс Касторп претерпевал различные процедуры в высокогорном санатории «Берггоф». Касторп и я терпели лишь потому, что эти процедуры виделись нам частью «герметической педагогики».

Кроме художественного оформления больничных интерьеров (к 8 Марта и другим праздникам) я также работал в дурдоме над нашей совместной с Ильей Кабаковым книгой, предназначенной для издательства «Детгиз». Книга, составленная из безликих стихов для детей, вышла в том же году, иллюстрации по стилю ничем не отличаются от кабаковских, но в качестве иллюстраторов заявлены две фамилии – И. Кабаков и П. Пивоваров. Книга называлась «Чтобы всё росло вокруг!». Помню, как-то раз уже упомянутый персонаж по кличке Гумилев крупными шагами вошел в нашу палату и, устремив на меня палец, неожиданно громким голосом спросил: «ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ?» Что-то на него нашло. Нечто торжественное, как бы из трагедии Софокла или из Элевсинских мистерий. Я как раз в этот момент раскрашивал титульный лист книги «Чтобы всё росло вокруг!». Поймав его состояние, я столь же торжественно молча указал на название книги, написанное крупным узорчатым шрифтом. Он прочитал название, лицо его посветлело, он понял, что получил ответ на свой патетический вопрос. Кивнув мне со значением головой (типа «Я понял. Ответ принят»), он повернулся и вышел из палаты.

Итак, всё росло вокруг. Росло? Да, росло. Затем я здесь и

находился. Нарастал какой-то тайный, потусторонний звон, как от невидимого трамвайчика, который надвигался, дребезгливый и лядащий, но всё же он нес в своих нематериальных вагончиках новые чувства, новые ознобы, новые фантомные переживания...

Вскоре меня стали отпускать на субботу и воскресенье. Отпускали на волю уже в пятницу, сразу после врачебного обхода, то есть где-то после трех дня, а вернуться нужно было в понедельник рано утром. В таком режиме существовать было гораздо легче. Инженер Зубов оказался заядлым нумизматом. Я продавал ему монеты из своей коллекции – недорого, по три рубля, по пять рублей за монету. У меня совсем не было денег, в еде я был аскетом, но мне требовались деньги для поездок на такси, потому что к тому моменту я уже полтора года как перестал ездить в метро. Деньги, которые я выручал у Зубова за проданные старинные монеты, я использовал исключительно для того, чтобы мчаться в такси по темному ранневесеннему городу, всё еще скованному по краям оплывающими снегами. Ехал я обычно напрямик на Фурманский, чтобы пообщаться с друзьями, раскуриться и испить алкогольных напитков – и таким образом стряхнуть с себя тормозящий эффект дурдомовских препаратов. Потом я ехал домой, на Речной.



Младший инспектор МГ Владимир Фёдоров (Федот), старшие инспекторы МГ Сергей Ануфриев, ПП, Юрий Лейдерман, младший инспектор МГ Антон Носик, младший инспектор МГ Анастасия Михайловская. Сквот на Фурманном переулке, кв. 13. Москва, 1989 год

В какой-то момент вернулся из Берлина Сережа Ануфриев. Поначалу он показался мне каким-то поглупевшим после долгого пребывания за границей: он отказывался говорить по-русски, делая вид, что как бы забыл родной язык, и постоянно щеголял в офицерских сапогах. Эти сапоги он купил в Берлине на том самом блошином рынке, который я так прочувствованно описал в конце берлинского эпизода. В

прошлой своей жизни эти сапоги, видимо, принадлежали какому-то фашисту, какому-то озверевшему агрессору, во всяком случае, действовали они странно на Сережин мозг: время от времени в нем пробуждалась тевтонская жестокость, прежде Сергею Александровичу не присущая. Вспышки гнева вызывались всегда некими случайными личностями такого свойства, что, будучи без сапог, Сережа вряд ли обратил бы на них внимание. Как-то раз, в начале 90-х, когда все тусовались в МСХШ, напротив Третьяковки, Сереже встретился в коридоре один малознакомый художник, подвыпивший и недобрый, которому вздумалось прикопаться к Сереже с вопросом типа «Чё ты тут забыл?» Не сказав худого слова, Сергей немедленно впаял этому художнику кованым сапогом прямехонько по яйцам, причем со всей дури, так что от изумленного вопля живописца вздрогнули живописные полотна под стеклянными крышами Третьяковской галереи. Вот, что называется, «несимметричный ответ». Все присутствовавшие при инциденте (человек пять, включая меня) были потрясены жестокостью этого поступка, которого трудно было ожидать от Сережи, известного своим мягким нравом, добротой и деликатностью. Так влияли сапоги.

На Фурманном круг моего общения, кроме Зайделя и Насти Михайловской, в основном составляли одесситы. Будучи закоренелым москвичом, я почему-то влился в состав так называемого Одеколона. Это обозначение расшифровывалось как «Одесская колония». Подразумевалась относитель-

но небольшая компания художников-одесситов, в тот период обосновавшаяся в сквоте на Фурманном. Лёнчик Войцехов, Перцы (Мила Скрипкина и Олег Петренко), Игорь Каминник (Камин), Лейдер, Витя Француз, позднее присоединившийся Карман (Саша Петрелли). Еще позднее появившийся в Москве Игорь Чацкий. Ну и, конечно, роскошный Исидор Мойшевич Зильберштейн, он же Сэмэн, он же Сеня Головные Боли, он же Сеня Узенькие Глазки. К Одеколону относились также художники более старшего поколения Володя Наумец и Валик Хрущ, а из молодых – Фомский (бессловесный и педантичный сосед Лейдермана по мастерской на Фурманном), Лариса Резун-Звездочетова и Мартуганы, то есть Гоша Степин и Света Мартынчик, впоследствии превратившаяся в известного российского писателя по имени Макс Фрай. Ну и, конечно, Вадик Гринберг с женой Ниной и двумя юными дочками-красотками. К одесситам меня влекла свойственная им атмосфера чего-то несерьезного и в то же время детски-уютного: южный расслабон, хохмы и шуточки плюс культ кайфа, флюид портово-курортного города, черноморский соленый ветер, чай и план, глубочайший мечтательный инфантилизм, ощущение невылезания из детского носочка, все эти ТЭФТЭЛЬКИ, еврейско-украинский семейный борщ с мацой... Общий образ одеколони́ста тех дней: ленивый панк-концептуалист, остроумный и хтонический, считающий себя дико практичным, юрким и хитрым, но на самом деле совершенно не хитрый, не практичный и

не юркий, а напротив, тормозной и витающий в облаках, зато вполне гениальный. Все эти художники влились в микростаю московских концептуалистов, сообщив нашему кругу особую игривость, теплоту и южный пофигизм. Все одеколонисты, независимо от их национальной принадлежности, казались мне людьми из некоего сказочного Еврейского Царства. Действительно, Одесса еще оставалась тогда отчасти таким Еврейским Царством, хотя не так много в ней уцелело евреев, но сам воздух еще оставался еврейским. Спустя много лет я пытался обнаружить Еврейское Царство в Израиле. Но не обнаружил. Потому что Израиль не царство, а государство.

Сережа Ануфриев был, конечно, звездой Одеколону. Почти все вышеперечисленные персонажи могли засвидетельствовать, что он сыграл в их жизни нешуточную роль, а многие из них, возможно, никогда не стали бы художниками, если бы не встретили Оболтуса (так называли Сережу в Одессе). Вскоре я познакомился с Федотом (Володей Федоровым), еще одним легендарным персонажем из этой одесской плеяды. О нем я уже был наслышан от мифогенного Оболтуса, причем все истории о Федоте казались совершенно сюрреалистическими, все они обладали неким особым атмосферическим привкусом, в этих галлюцинаторных байках присутствовало нечто от картин раннего де Кирико или Дельво. Вскоре мне пришлось убедиться, что Оболтус не преувеличивал.

Федота ко мне привел Лейдерман, причем оба пришли ко мне на Речной пьяные. Лейдер сразу упал на кровать, а Федот пошел на кухню ставить чайник. На кухне, вместо того чтобы поставить чайник на плиту, он зачем-то сначала решил разогреть ее. Включив плиту (она была электрической), он стал прохаживаться рядом, время от времени возлагая на нее свою ладонь, чтобы проверить степень достигнутого нагрева. В какой-то момент плита резко раскалилась и Федот, как Муций Сцевола, прижал к яростному диску свою растопыренную длань. Войдя в комнату с обожженной ладонью, он потребовал у нас совета, что делать в такой ситуации. Мы посоветовали ему пойти в тубзик и поссать на ладонь. Федот оставался в тубзике довольно долго, а потом вышел с потеряннным видом и спросил: «Ребят, вы не могли бы поссать мне на руку? У меня че-то моча не идет». Мы отказались выполнить его просьбу, но в ответ на наш отказ Федот даже как-то оживился и с неожиданной игривостью спросил меня: «Паш, раз такое дело, а нет ли у тебя в таком случае транков?» Транков, то есть транквилизаторов, у меня было навалом – каждый раз, отпуская меня на уикенд из дурки, мне давали с собой коричневые бумажные конвертики, в которых лежали таблетки. Я их не принимал, и этих конвертиков с таблетками накопилась у меня целая куча. Решив предоставить Федоту богатый выбор, я вытащил из ящика стола ворох этих лекарственных конвертиков, но мой загадочный гость не стал утруждать себя выбором: он просто

высыпал содержимое конвертиков на ладонь (образовалась внушительная разноцветная горсть) и отправил всё это себе в рот. При этом он так резко откинулся на стуле и так мощно впаялся затылком в стену, что дрожь прошла по всем семнадцати этажам моего дома. После этого потрясающего удара он застыл, и я было даже подумал, что он умер (что не удивило бы меня), но он крепко спал. Проснулся он, впрочем, уже минут через двадцать пять, крайне бодрый и оживленный, и стал рассказывать мне какую-то длинную и подробную историю, как он скитался по Казахстану, занимаясь фотонабором. Говорил он вроде бы по-русски, но мне пришлось прикладывать невероятные и мучительные усилия, чтобы понимать его речь: казалось, что со мной беседует инопланетянин, весьма небрежно подготовившийся к визиту на планету Земля. Никогда прежде мне не приходилось слышать столь оживленную и при этом искаженную речь. Впоследствии этот тип дискурса стал известен всем сотрудникам «Медгерменевтики» под названием «федотское бульканье». Невнятность этого «бульканья» в последующие годы иногда бесила меня невероятно, и, бывало, я в категорической форме требовал от Федота, чтобы он «подтянул лингву». При этом история, которую он пытался излагать, носила полукриминальный характер. «Заниматься фотонабором» – это значило шляться по деревням с чемоданчиком, начиненным фотооборудованием, выполняя различные заказы селян. Например, у некоей семьи умер родственник и от него остался

только стертый лик на групповом фото. А им хотелось повесить на стену его фотопортрет, где он присутствовал бы отдельно, в полный рост, да еще и в военной форме. Поэтому надо переснимать, ретушировать, еще раз переснимать... Тогда ведь не было фотошопа. Дело это, как ни странно, считалось довольно денежным, а криминальность проистекала из того обстоятельства, что все заработанные деньги приходилось возить с собой. Из-за этих денег Федот в какой-то момент поссорился с напарником, и тот даже угрожал ему ножом, при этом делая вид, что очищает апельсин. Федот в настойчивой форме призывал меня разделить с ним его возмущение гнусными инсинуациями напарника, он истерзал и превратил в оранжевый хлам несколько апельсинов, изображая сцену наезда. Было очевидно, что выпученный инопланетянин, сидящий передо мной за моим кухонным столом, с ног до головы обрызганный апельсиновым соком, пытается изображать «правильного пацана», эдакого тертого, бывалого и бесстрашного землянина. Но получалось это у инопланетянина крайне скверно. В тот момент, внимая этому монологу, я крайне удивился бы, если бы мне сообщили, что с этим человеком я буду дружить в течение многих лет и что он в какой-то момент даже заменит Лейдермана на ответственном посту третьего старшего инспектора МГ. Федот мне не только не понравился тогда, при первой встрече, но, скорее, внушил ужас. Но не всё так просто. В этом человеке целый ворох личностей, и среди них попадаются весьма

ценные.

Сейчас, в эпоху разобщенности, Федот и Лейдерман заняли крайне противоположные позиции по разным сторонам мутного политического спектра. Лейдерман почему-то стал украинским националистом, то есть «оголтелым укропом», а Федот сделался «нерукопожатным ватником» (по его собственному определению). Вот так вот разбросала бывших друзей сложная международная обстановка.

На Оболтуса в этом смысле всегда можно положиться – ему точно насрать на политику. Оболтус навещал меня в дурдоме, являясь в американской шляпе и фашистских сапогах, мы раскуривались с ним во дворике близ больницы, сидя на черном бревне за разноцветной избушкой, предназначенной, надо полагать, для детского секса в дождливые дни. Приятно было возвращаться в отделение накуренным: всё казалось таким уютным, даже депрессивный режиссер Шнейдер, грызущий свою веснушчатую руку, роняющий на свою собственную слабую кожу слабые жемчужные слезы – он оплакивал свое цветущее прошлое, кинофестивали, премьеры, рестораны, женщин... Больше всего в нашем отделении страдали те, кто в жизни достиг успеха. Страшитесь успеха, будущие старики и старухи!

Шнейдер сидел в курилке, дымил сигаретой и плакал. Мимо него радостно проплывали Бобчинский и Добчинский, бросая непонимающие взгляды в отравленные горем глаза кинорежиссера. Им-то было хорошо – они собирались со-

вершить любимый ритуал параллельной затрудненной дефекации.

Двое стареньких в соседних кабинках
Тужились и кряхтели, у всех был запор.
Прижавшись к обогревателю согнутой спинкой,
Ты тихо сидела за складками штор.

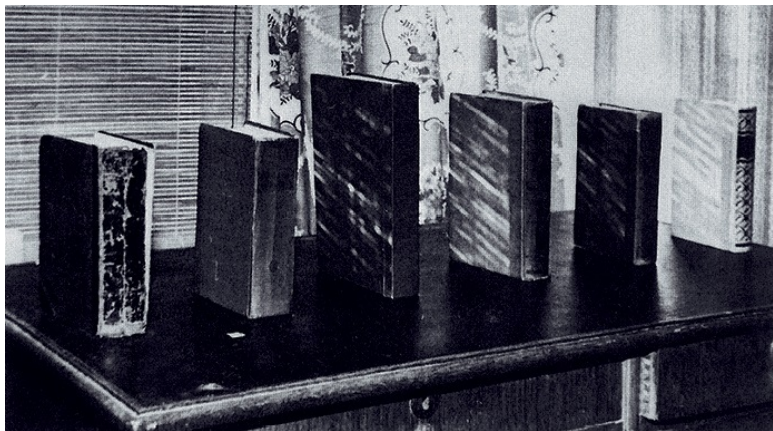
Это уже из моего цикла стихов «Внученька», который я начал писать под конец своего пребывания в Центре психического здоровья. А что меня на этот цикл вдохновило – сейчас расскажу. Собственно, я уже давно обещал рассказать о том супербонусе, которым (кроме сладкого чифирия) обладала наша палата номер пять. Дело в том, что прямо напротив окна нашей палаты располагалось окно душевой женского молодежного отделения, окно, не обладавшее даже намеком на занавески, и каждый вечер мы, погасив в нашей палате свет, наслаждались необыкновенно волнующим зрелищем. Светятся неонами окна девичьего отделения. Девушки по очереди входят в душевую, их тела омываются потоками горячей воды, и пар, постепенно накапливаясь, скрывает их наготу – они тают в горячем тумане, стройные нимфы или жирные одалиски, распухшие от нейролептиков, они превращаются в призраки теплого света под завесой испарины, они растворяются процессией влажных небесных русалок, плывущих в неоновых облаках.

Через два с половиной месяца моего пребывания в ЦПЗ я вышел на свободу с чистой совестью и чудовищной физиономией – меня разнесло от дурдомовских снадобий, к тому же я проделал настолько рискованные парикмахерские эксперименты со своей бородой, что, глядя на меня, нетрудно было догадаться, что этот парень только что откинулся с дурки. Меня это не волновало. Молодость знала свое дело: не прошло и трех недель после выписки, как я уже снова был вполне хорошеньким бородачом.

После моего освобождения из дома скорби наступил период такой зашкаливающей интенсивности, что впору было удивляться: к чему бы это? Видимо, после дурдома явилось ощущение, что я прошел некую инициацию, некую проверку, пережил определенное архаическое и магическое пребывание в «обители символических мертвецов». А может, меня просто немного подлечили? Советская психиатрия, если не отягощали ее карательные задачи, свое дело знала.

Между тем политический процесс, называемый *perestrojka*, постепенно близился к своему апогею – в чем этот апогей должен заключаться, еще никто не знал. Когда впоследствии выяснилось, что этот апогей означает распад СССР, для большинства зрителей это стало неожиданностью. В любом случае саспенс нарастал. Наша страна, переживающая последние годы своего существования, находилась в эпицентре мирового внимания. Одновременно с этим острым политическим интересом всё более пробуждался ин-

терес, который, с некоторой натяжкой, можно назвать эстетическим. То есть всё более и более раскручивалась мода на советское неофициальное искусство, на советское альтернативное кино и неподцензурную словесность. Но и официальная советская культура, опьяненная процессом либерализации, стала позволять себе немало вольностей. Интеллигенция пребывала в эйфории, население всё глубже погружалось в отчаяние. Телевизор в каждой квартире напоминал буйного джинна, вырвавшегося из запечатанного сосуда. Заседания Верховного Совета транслировались по ТВ каждый день, длились часами и выглядели как политические reality show, смешанные с античными трагедиями. Депутаты орали, дрались, а из их уст нескончаемым рвотным потоком лилась так называемая правда-матка.



Объект МГ «Книга за книгой». 1988



Объект МГ «На книгах». 1989



Мы, старшие инспекторы МГ, взирали на эти горячие процессы без энтузиазма, ностальгируя по прохладным вре-

менам брежневского конфуцианства. Тем не менее наша довольно юная группа Инспекция «Медицинская герменевтика» уже была зачислена в состав того удивительного боевого содружества, которое Костя Звездочетов остроумно назвал «советская перестроечная сборная по современному искусству». Хотя нас и тошнило от слова *perestrojka*, это не помешало нам в тот период поучаствовать во множестве выставок в различных странах и уголках мира, которые все назывались как-нибудь вроде *Art of Perestrojka*, *Contemporary Art in The Age of Perestrojka*, *Between Spring and Summer* и так далее. В тот период щедрый поток иностранцев, перемешанный с местными арт-деятелями, лился сквозь наши пространства. Встречались среди них американцы и американки вроде совиной Филис Кайнд в вечных круглых очках, попадались сдержанные японцы и экспрессивные итальянцы, тревожные англичане и флегматичные скандинавы, но больше других стран мохнатая Германия протягивала к нам свои руки – свои большие, дремучие, сильные руки, пахнущие сосисками, деньгами, дерьмом, цветами, кебабами, трамваями, мерзкими махинациями и глубочайшими духовными переживаниями. Появился в Москве Петер Людвиг, коллекционер и шоколадный король, закупивший для своего музея в Аахене нашу инсталляцию «Белая кошка» (сейчас эта инсталляция находится в Русском музее в СПб, подаренная Людвигом). Вокруг этого высоченного, лысого и совершенно окоченевшего старика постоянно носился и вертелся

оживленный смуглый карлик, тоже лысый, чья плешь напоминала колено жирного мулата. Выражение на лице карлика постоянно менялось, он то съедал как бы невидимую сладкую конфету, то вдруг пробуждался в нем карикатурный демон, а то и как бы Наполеон, дерзко нарисованный кистью недоброжелателя, сквозил сквозь его лицо, строя какие-то выстегнутые корсиканские гримасы. Чтобы казаться выше, карлик бегал в высококаблучных туфлях, которые для пушего звона подкованы были металлом, словно копыта норовистого коня. Жирная жопа карлика обтягивалась бордовыми или изумрудными штанами, а из нагрудного кармана пиджака неизменно вырывался буйный шелковый платок, свисая на его грудь переливающимся языком, напоминая о висельниках и припадочных. Этого человека звали Томас Крингс-Эрнст, это был галерист из Кельна, каким-то образом примазавшийся к колонноподобному Людвигу и оказывающий шоколадному монарху некие существенные услуги. Эти два человека напоминали великана и гнома, слепленных из говна. Как будто некий гениальный немецкий скульптор глубоко окунул в фекалии свои умелые руки и слепил эти две фигуры на страсть и хохот потомкам. Этот галерист из Кельна отчего-то заинтересовался нашей группой. Видимо, возвышенный и хрупко-отважный образ молодого Лейдермана чем-то тронул нечерствое сердце этого кельнского гнома – тронул настолько пронзительно, что галерист предложил нам сотрудничество.

В теоретическом сленге МГ такого рода персонажи относились к группе феноменов, называемых «подлецы с Запада». Им противостояли или же их дополняли «распадающиеся эмбрионы» (то есть мы как бы), коих «подлецы с Запада» постоянно атаковали посредством шквала микрокасааний, постепенно шлифующих эмбриональную поверхность, подталкивая эти интроспективные инспекционные шкурки к стадии сияния. Впрочем, что же я делаю?! Неужели я позволил себе заговорить на внутреннем языке МГ?! Это совершенно недопустимо в рамках данного повествования, которому надлежит быть (если исходить из моих литературных намерений) написанным всецело внешним литературным языком, воспроизводящим необременительную шутовскую в стиле «быстро проходя по аллее, ненароком взъерошить пушистое оперение экзотической собачки».

Короче, чужеземцы периода поздней перестройки ничем не напоминали тех иностранцев, которых мы знали раньше: углубленных, нежных, застенчивых и как бы слегка заикающихся исследователей, растерянно бродящих по эрогенному ландшафту. Нам не хватало иностранцев прошлого, их ангельских глаз! В конце 80-х иностранец пошел жирный, пружинистый, оборотистый, дидактичный. Такой контингент, возможно, неплох для коммерции, но скверен для ментального здоровья. И всё же наша ностальгия по западным ангелам время от времени удовлетворялась! Такими западными ангелами были, например, Сабина Хэнсен или рыжеволо-

сая Клаудия Йоллес: они обе целиком и полностью соответствовали идеалу застенчивого профессионала! Постепенно отряды западных ангелов всё более четко проступали сквозь потоки западного говна. Как я уже говорил, западные люди на удивление поляризованы, они действительно разделяются на ангелов и демонов, на хороших и плохих, и это крайне странно с точки зрения наших мест, где всё смешано со всем словно бы гигантским миксером. Смешано, да еще и взбито – ведь именно так работает миксер, он не только смешивает, но и взбивает, надувает, взъерошивает.

Поток иностранных гостей в тот год напоминал грязевой шквал, несущий иногда в себе алмазы удивительной чистоты! Встреча с одним из таких алмазов произошла в те дни. Мне кто-то сообщил, что с нашей группой желает познакомиться некий германский господин, прибывший в Москву с целью подготовки большой выставки произведений Павла Филонова, которая намечалась в Дюссельдорфе. Я не придавал этому особого значения, тем не менее встреча была назначена. В определенный день и час господин должен был появиться у меня на Речном. До этого дня я не наблюдал в себе склонности к долгим, интеллектуально насыщенным беседам на английском языке, точнее, не обнаруживал в себе достаточного для таких бесед владения этим языком. Общение с берлинскими друзьями обычно сводилось к гирляндам коротких шуток, вроде *It is very gemütlich in purga-time* («Так

уютно иногда бывает, когда сидишь в теплом домашнем пространстве с друзьями, а снаружи стонет снежная буря»).

Но в тот день я встретился с препаратом, который, как выяснилось, может способствовать эффекту глоссолалии, то есть молниеносному и спонтанному овладению иностранными языками. Встреча с препаратом произошла на Фурманном, и этой встречей я также обязан своему недавнему пребыванию в больнице, так как там я совершенно избавился от страха перед инъекциями, который испытывал прежде. В больнице меня мучили инъекциями ежедневно, причем тамошние медсестры настолько плохо владели этим искусством, что иной раз я просто отдавал им на растерзание свою несчастную руку, а сам тупо смотрел в другую сторону, ожидая, пока после многочисленных неудачных попыток они наконец попадут мне иглой в вену. Приятель, которого я встретил в тот день на Фурманном, справился с этим делом виртуозно и молниеносно, в отличие от дурдомовских умниц. На приходе хлынул весенний ливень, порывисто омывший весенние дворы, и было так хорошо и свежо лежать в полутемной комнате выселенного дома, оклеенной старыми пузырящимися обоями, на которых там и сям белели светлые прямоугольники и овалы, оставшиеся от памятных фотографий и других картинок, годами украшавших стены этой комнаты в те времена, когда здесь жили неведомые мне люди. Теперь в этих прямоугольниках и овалах струились призрачные тени дождя, наводя на ложную мысль, что в этой ком-

нате живет тот самый художник из попсовой песенки, что рисует дождь. Через приоткрытую дверь проникали звуки тихого чаепития и монотонный и мягкий голос Ануфриева, вливающий в чьи-то уши очередную концепцию вкрадчивого мироздания. Я бы мог долго лежать там, водрузив ноги в модных ботинках на голову резного и рассохшегося шкафчика, наслаждаясь этим дождем, этой весной, но тут вдруг вспомнил, что у нас назначена встреча на Речном, куда должен явиться неведомый германский господин, предположительно, обожающий Филонова. Я не собирался профильтровать эту встречу, и, будучи в любом состоянии очень вежливым и общительным молодым человеком, я, взяв с собой Оболтуса, отправился на Речной. На прощание приятель (юный медик, конечно же), который так неожиданно способствовал моему проникновению в суть весеннего дождя, вручил нам запечатанный аптечный флакон еще с одним препаратом, о котором ни мне, ни Ануфриеву на тот момент ничего не было известно. На улицах пузырились большие и радостные лужи, дождевые тучи уходили в сторону трех вокзалов, над «Красными Воротами» (тогда еще «Лермонтовская») висела радуга, словно многокрасочные ворота, гостеприимно приглашающие нас в бескрайние поля небес, а мы мчались в такси по Садовому кольцу, а после по Ленинградскому шоссе, мчались на северо-запад, в сторону Речного вокзала. Домчались мы раньше, чем рассчитывали, и стоило нам войти в мою квартиру, как Сережа тут же заявил, что

он твердо намерен до прихода германского гостя попробовать неведомый пока препарат из подаренного нам смуглого флакончика. Вообще-то я полностью рассчитывал на Сережину разговорчивость в ситуации надвигающегося общения с германским гостем, я полагал, что беседовать с ним будет в основном Сережа, я же смогу любоваться благородными последствиями дождя на нежно освещенном небе, великолепно зависающем над моим просторным балконом. Но не тут-то было! Под воздействием неведомого препарата Сережа на моих глазах превратился в обездвиженное бревно, не обладающее способностями к вербальной коммуникации. Даже эфемерного намека на такие способности не наблюдалось в бревне, которое просто лежало на кровати и огромными, распахнутыми, совершенно отчаянными глазами взирало на голую лампочку, которая излучала бодрый электрический свет, уместный в контексте наступившего вечера. Я был крайне смущен таким развитием событий, но тут в дверь позвонили. Мне ничего не оставалось, как осторожно прикрыть дверь в маленькую комнатку, где лежал Ануфриев, и идти открывать входную дверь, за которой я ожидал увидеть очередного «подлеца с Запада». Но на пороге моей квартиры стоял благороднейшего вида седовласый господин с чрезвычайно приятными и утонченными чертами лица. Достаточно было услышать лишь несколько фраз, произнесенных господином по-английски с обворожительным немецким акцентом, как уже стало ясно, что передо мной один из тех ари-

стократов духа, о которых так упорно толковал Томас Манн, описывая двойственность германской нации. Так я познакомился с Юргеном Хартенем.

Этот человек с первой же встречи внушил мне глубокое восхищение и искреннюю приязнь. Впервые увидев друга друга, мы без остановки проговорили три часа. Беседа оказалась захватывающе интересной, настолько захватывающей и увлекательной, что я забыл о том, что говорю на чужом языке, забыл и о бревне с вытарашенными блуждающими очами, которое лежало на кровати в соседней комнате. Самое поразительное заключалось в том, что я изъяснялся по-английски впервые в жизни совершенно непринужденно и свободно, я не ощущал ни малейших препятствий для выражения своих мыслей, а также самых нюансированных чувств, я не запинаясь, не искал слова: речь моя текла плавно и витиевато, как и должна течь свободная речь согласно свойственному мне логоцентрическому культу расторможенной речи. Совпадение эффектов! Эффект впервые испробованного препарата наложился на эффект, вызванный обаянием впервые увиденного джентльмена из Дюссельдорфа. Так Германия и химия подарили мне английский язык. Психоактивная химия – вещь непростая, да и господин из Дюссельдорфа оказался непрост, и старомодное его обаяние было не менее многослойным, чем мой семнадцатипятиэтажный дом! Существо плюс вещество! Это сочетание способно порождать миры. С того дня и до сих пор я способен сказать по-англий-

ски всё, что хочу, хотя, по сути, я не знаю этого языка. Это явление (что когда-то называлось «глаголати на языцех», то есть мистическое овладение чужим языком) визуализировалось в традиции западноевропейской религиозной живописи в виде языков пламени, висящих в воздухе над головами просветленных апостолов. Обретению этого дара посвящен праздник Пятидесятницы. В этот постдождевой вечерок полыхнул язычок ангельского (английского) пламени над моим темечком. Сейчас, всматриваясь сквозь туннель времени в ту далекую ситуацию (двадцать восемь лет ускакало с того весеннего вечера), я способен оценить всю ее многогранность, всю ее кристалличность, всю ее алмазность! Я понимаю сейчас, что действовало, так или иначе, не только то вещество, что бродило тогда в моей крови, но и то, другое, мне еще неизвестное, что обездвижило Ануфриева и лишило его на время дара речи. Речь была делегирована, я говорил в тот вечер языком змеи, раздвоенным языком (здесь мы вступаем в область откровенного герметизма), говорил «за себя и за того парня», а «тот парень» был недалеко, он лежал, тарашась на голую лампочку, за тонкой, почти картонной перегородкой, но благородный Юрген не знал, что там лежит человек.

Без того, кто тайно лежит за перегородкой, ничего состояться не может. Мы образовали сложную синергетическую фигуру, составленную из трех людей и двух медикаментов. Впрочем, эта фигура усложнялась на глазах, быстро выдвигалась

гая серии новых сияющих точек (трассирующий след будущего) прямо из своей опустошенной сердцевины.

Говорили мы в основном о мистике совпадений, о магии отдельных персон и мест. В его словах звучали 70-е годы, время моего блаженного детства: за это я и полюбил Юргена. Те годы для него тоже были блаженными, и главным образом благодаря спиритуально могучим друзьям. Он, как и я, был пропитан друзьями, притом что его сакральные товарищи уже ушли в мир сочных теней. На питательных полянах его воспоминаний вновь и вновь вырастали перед моими изумленными глазами три огромных гриба, три богатыря, три сталактита: Йозеф Бойс, Мартин Киппенбергер, Марсель Бротарс. На меня повеяло сильным воздухом тех времен, когда искусство в Западной Европе еще не вполне превратилось в тухлую смесь, состоящую из протестантских (протестных) спекуляций и слегка извращенного дизайна. Бойс, шаман и фигляр, помеченный огненным клеймом Крыма (клеймом, которое он скрывал с помощью шляпы), жалобно и маниакально взирал сквозь поток слов Юргена, у его ступней свивались солеными крендельками потоки дюсельдорфского шлака, гирлянды мелких рейнских уебанов, в те времена еще слегка витальных. Гениальный и харизматичный Мартин Киппенбергер...

А впрочем, что там Бойс и Киппенбергер! Эти двое отступали в тень перед бельгийским лицом сияющего и единственного Марсея Бротарса, которому всецело принадле-

жали сердце и душа Юргена. Как страшны веселые деревни на Рейне, если бы вы только знали! Как страшен и тягостен нарядный город Дюссельдорф! Это вам не расхуяченный дырявый Берлин! Это другое – плотная, крепко сшитая немецкая ткань, по которой бегут, по которой кувыркаются пестрые скоморохи средневековой Шильды. Здесь рядом Гаммельн, пахнувший крысами, детьми и крысоловом! Здесь рядышком Бремен, где громоздятся друг на друге беременные животные! Здесь пахнет проделками крестного Шиммельпристера и дешевым вином. Здесь Дроссельмейер превращается в сову, сидящую на часах. Здесь вечный бильярд в половине десятого и прочее послевоенное дровичлово на образы жирных негров Фассбиндера, одетых в одни лишь носки или в мятые униформы американских сержантов. Здесь постепенно цепенеющая Лорелай на скале сладко твердит древнее заклятие, золото ее самых длинных в Европе волос – это золото Рейна, по которому тащатся баржи с зелеными бутылками вина и старинные корабли дураков. Они плывут в Бельгию, самую истерзанную, самую печальную и изнасилованную страну Европы. Сквозь мрачную и надломленную Бельгию скачет хрупкий кентавр европейского концептуализма. Собственно, дело это затеяли еще Дюшан и Магритт, а в музыке Эрик Сати с его мистификациями – короче, городские шутники, и они всерьез полагали, что будут отпускать в городских пространствах свои глубокие и тонкие философские шутки, развлекаая этим себя и подобных

им изысканно мыслящих, но в вопросах, которые они затронули (отношение между словом и делом, словом и предметом, словом и телом), заинтересованы не только философия и эстетика, но также и магия, поэтому после войны и Освенцима подключились к этому делу шаманы-тяжеловесы, то есть бывшие летчики люфтваффе с обожженными черепами и толстые венгерские эмигранты в круглых очках, подключился исступленный и нежный Ив Кляйн, забрызгавший пленки концептуализма темно-синим молоком, а тут уже вся Восточная Европа забубнила и загундосила под советским пледом, поляки стали кататься голыми по театральным сценам, а в Америке подрос чувствительный гриб, обожающий случайные шумы, – Джон Кейдж. Короче, подключились аграрии, которым начхать было на городские пространства, на тонкость философских шуток, а потом еще глубже пошло – подключилось бортничество и собирательство. Подстегнулась Россия с ее кабаками и монастырями, где варят пиво и куют булат. Включились подавленные народы – индейцы, эскимосы, австралийские аборигены. А потом уже целые отряды разнузданных пустынных кенгуроидов стали скачкообразно вливаться в ряды концептуализма, неся своих поющих эмбрионов в замшевых брюшных карманах. Как скакали они навстречу красному солнцу пустыни Виктория! В 1970-е годы сформировался даже некий интернационал концептуализма, охвативший собой весь мир, но к 1989 году от этого интернационала остались только зеркальные осколки.

О чем мы говорили? О чем мы беседовали с Юргеном Хартенем, сидя в разошедшихся креслах в комнате, где за перегородкой лежал замороженный Ануфриев? Юрген поведал мне пронзительную историю о том, как в детстве он стал свидетелем гибели своего отца. Эта история поразила меня своей espectacularностью, своей отчетливой зримостью. Кстати, Юрген повлиял на роман «Мифогенная любовь каст», превратившись в интеллигентного и обаятельного эсэсовца Юргена фон Кранаха, обожающего живопись Боттичелли и Ренуара. В романе Юрген помолодел и упаковался в фашистский мундир.

В реальности же Юрген Хартен, обладающий внешностью фашиста-аристократа, происходит из древнего рода кукольников. Веками предки его блуждали по германским городам и городкам, влача на себе тяжелый кукольный театрик. Дело это тянулось из глубины Средних веков и дотянулось до отца Юргена. В детстве Юрген ходил по Германии вместе с отцом и театриком. Они давали представления на площадях. Когда началась война, отца Юргена не забрали в армию, потому что кукольники издревле обладали свободой от воинской повинности, и эту старую цеховую привилегию чтили даже нацисты. Отец и сын продолжали заниматься своим делом. Перемещались они от селения к селению исключительно пешком. Отец Юргена был религиозен и обожал соборы. Как-то раз они достигли города, который лежал в чаше ландшафта, окруженный зелеными холмами. Отец Юргена сбро-

сил с плеч театрик на одном из холмов.

– Побудь здесь и постереги театр, – сказал отец. – В этом городе мы не будем давать представления: он слишком мал. Я войду в город, чтобы осмотреть собор. Затем вернусь, и мы продолжим путь.

Сидя в зеленой траве холма, Юрген видел, как удаляется его отец, спускающийся к городу по петляющей тропинке. Отец сделался меньше муравья, но Юрген по-прежнему видел его. Он видел, как микроскопический отец проходит по улицам городка, как он выходит на соборную площадь, а затем заходит в собор. В тот момент, когда отец Юргена исчез внутри собора, небо над холмами наполнилось военными самолетами. На глазах немецкого мальчика город и собор превратились в руины под сброшенными бомбами. Юрген продолжал сидеть в зеленой траве возле переносного кукольного театра, понимая, что отныне он сирота. Он не продолжил дело своего отца и своего рода, вместо этого он стал заниматься организацией художественных выставок и через некоторое время стал директором городского выставочного зала в Дюссельдорфе (Kunsthalle Düsseldorf). Это место вскоре сделалось одним из самых известных и легендарных в Западной Европе. Юрген плотно дружил и сотрудничал с Йозефом Бойсом (который орудовал прямо напротив Kunsthalle, на той же городской площади, в Дюссельдорфской академии), Джеймсом Ли Байерсом, Мартином Киппенбергером, Гилбертом и Джорджем, Кристианом

Болтанским и многими другими. Этот выставочный зал в 70-е годы сделался оплотом западноевропейского концепт-арта. Самым близким своим другом среди художников Юрген считал Марселя Бротарса, изысканного бельгийца, которому Магритт торжественно вручил свой котелок – как бы корону передал. Бротарс впоследствии всегда носил этот котелок, вошедший в структуру его образа, как мятая шляпа и жилет с карманами – в образ Бойса. Юрген рассказывал, как в 1970 или 1971 году они с Бротарсом устроили в Кунстхалле огромную выставку, посвященную орлам. Целый год, готовясь к выставке, они вместе шатались по барахолкам, антикварным магазинам, аукционам и блошиным рынкам, скупая всё, что имело отношение к орлам: статуэтки, картины, гербы, ковры, флаги, нарукавные ленты, кокарды, ордена, хоругви, резные шкафы, военные шлемы и каски, рекламные плакаты, виниловые пластинки, шкатулки, садовые изваяния, барельефы, почтовые марки, старые ассигнации, монеты, флюгеры, печати, чучела, короны, мантии, мусорные ведра, трости, вывески харчевен и отелей, канцелярские бланки и прочее. В течение целого года слово ADLER всецело владело их сознанием. Всё гигантское пространство Kunsthalle было отдано орлам: набивным, стеклянным, мраморным, бронзовым, бумажным, гравированным, вышитым бисером, написанным маслом, патетическим, карикатурным – всевозможным. Юрген подарил мне каталог этой выставки, изданный тогда же. Роскошная выставка, мне кажется.

Когда он рассказывал мне про выставку орлов, я вдруг отчетливо увидел, что передо мной сидит орел в человеческом облике: германский, грассирующий, постимперский. Такие глаза я встречал в зоопарках: они внимательно смотрели на меня сквозь прутья орлиных клеток. Орел рассказал, что хочет показать европейцам Павла Филонова – собранного почти полностью, огромную выставку художника, в те времена еще совершенно неизвестного в Европе. Затея, впечатляющая своей грандиозностью, своим лихим масштабом, – как все дела Юргена. Он джентльмен эпического свойства. Мастер великих деяний. Впоследствии он, впервые за всю историю выставочного дела, собрал воедино всего Караваджо и прокатил эту выставку по крутейшим музеям мира. Он же курировал выставку «Москва – Берлин» в 2003 году. Тогда, в 1989 году, Юрген решил провести у себя в Кунстхалле, одновременно с выставкой Филонова, также выставку кого-либо из молодых московских художников – чтобы обозначить «связь времен». Для этого он и приехал в Москву в тот раз. К моменту его появления у меня дома он уже посетил немало мастерских разных художников, и вот теперь зашел посмотреть, что делаем мы: ему рассказали, что есть такая группа «Медицинская герменевтика», недавно возникшая, но уже весьма авторитетная на московской художественной сцене.

Увы, мне было совершенно нечего ему показать. В тот момент мы настолько погрузились в разработку понятий, терминов и лабораторных идеологием, что нам совершенно недо-

суг было производить конкретную художественную продукцию. Юрген не увидел у меня ни одного художественного произведения. Ни одного объекта, рисунка или картины, кроме беглых набросков придуманных мной инсталляций, которые я увлеченно рисовал карандашом у него на глазах, параллельно повествуя о наших теоретических изысканиях. Должно быть, странный юнец с глазами, блестящими от философского воодушевления, с дикой скоростью рисующий совершенно отъехавшие и достаточно пресные инсталляции на обрывках бумаги, чем-то напомнил Юргену его покойного друга Бротарса, такого же концептуалиста-энтузиаста, каким был я. Во всяком случае, к концу нашего разговора Юрген заявил, что намерен сделать именно выставку «Медгерменевтики» параллельно с Филоновым. Были сразу же выбраны две инсталляции, подлежащие осуществлению: «Обложки и концовки» и «Ортодоксальные обсосы». Договорились также о том, что будет издана книга МГ под названием «На шести книгах», на русском и немецком языках. Как сказано, так и сделано. Мы скрепили наш договор рукопожатием, и все так и случилось, как было решено. Выставка МГ в Кунстхалле Дюссельдорфа состоялась в сентябре 1990 года одновременно с выставкой Филонова, две большие инсталляции были реализованы, и к этому событию была издана превосходнейшая книга. «Как вам это понравится?» – воскликнул бы мистер Шекспир, если бы оказался в настроении что-либо восклицать. Двадцатидвухлетний опездол, только

что откинувшийся с дурки, не показавший господину директору ни одной работы, договаривается о большой выставке в легендарнейшем местечке Западной Европы! Это нельзя объяснить ничем, кроме рыцарской отваги, присущей представителю древнего германского рода кукольников! Так началась арт-карьеря МГ на Западе: в высшей степени странная и противоречивая арт-карьеря, больше похожая на роскошную галлюцинацию, нежели на рационально осмысленную цепочку последовательных деяний.

Но на этом не закончились события того весеннего дня, украдкой обратившегося в весеннюю ночь. Когда Юрген ушел, я сразу же подумал об Ануфриеве. Войдя в маленькую комнату, я убедился, что он мирно спит, несмотря на яркий электрический свет. Вскоре он пробудился и, вкушая на кухне чашку чая, рассказал мне о своих переживаниях под воздействием неведомого прежде эликсира.

– Это пиздец, – произнес Сережа невозмутимо и веско. – Я пережил тотальный конец всего, предел, за которым ничего нет и быть не может. Тотальный распад всего сущего на микроэлементы может показаться детской забавой в сравнении с той окончательной, беспричинной, бессмысленной, бесповоротной бездной, в которой я побывал. Надежды нет, и она к тому же нахуй не нужна.

Внимая этим речам античного стоика, внимая первым попыткам оформить в связной речи совершенно беспрецедент-

ный духовный опыт, отливающийся (в данном случае) в форму некоего «идеального отчаяния», я сочувственно качал кочаном, думая при этом, что Сережа после визита в бездну выглядит на удивление свежим, спокойным, рассудительным и даже как будто производит впечатление человека, отдохнувшего месяцок в неплохом санатории. Сам я чувствовал себя более или менее изможденным к этому моменту, но при этом даже думать не мог о сне.

После той могучей и яркой метафизической антирекламы, которую Сережа произвел в отношении только что испробованного им препарата, я не испытывал ни малейшего желания знакомиться с этим ужасным веществом и был совершенно убежден, что больше никогда не встречу с этим медикаментом на жизненном пути. Сережа также с убежденностью заявил, что одного визита в окончательный пиздец для него более чем достаточно.

Так мы сидели у меня на кухне, пили чай, грызли сушки и судачили, не подозревая, что обсуждаем вещество, которое на долгие годы станет нашим неразлучным спутником, нашим сокровищем, нашим волшебным ковром-самолетом, нашей загадочной нимфой, нашим эхом, впитавшим в себя все плески наших мысленных рек и все грохоты и шелесты наших океанов. Так много всего начиналось в тот вечер...

Только что я был оживлен и первый раз в жизни непридуманно изъяснял по-английски самые сложные медгерменевтические идеи, а Сережа лежал за перегородкой зимним

поленцем. И вот прошло четыре часа, и я уже сидел перед ним в виде почти руины, почти развеявшийся от усталости, а он пил чай свежим, адекватным и как будто бы даже деловым парнем. После чая он, будучи деловым парнем, собрался и куда-то ушел. Я остался один. Прилег, закрыл глаза. Что-то должно было еще произойти в каскаде значимых событий. И тут раздался неожиданный дверной звонок. Я открыл. На пороге стояла девушка с длинными золотистыми волосами, которую я совершенно не ожидал увидеть на этом пороге, в этот час, в эту ночь, в этой стране, в этот год. Она вошла, и тот тип поведения, который она предпочла в ту ночь, заставил меня блистательно забыть о Юргене, о бездне, о полence с отчаянными глазами. И только радуга, увиденная днем, временами вспыхивала за моими закрытыми веками... Да, случаются в жизни такие каскадно-гирляндные дни и ночи, а ради таких дней и ночей стоит невзначай черкнуть муаровые мемуары, не так ли?

Кроме моей квартиры на Речном вокзале и артистического сквота на Фурманном, местом моего почти постоянного пребывания была в тот период мастерская Кабакова, где уже не было самого Кабакова. Здесь часто работал и жил мой папа, наезжая в Москву из Праги, и в недели и месяцы его пребывания в Москве я тоже не вылезал оттуда: там было так уютно тусоваться с папой, завтракать и ужинать вместе под абажуром, сшитым из кружевных пеньюаров Вики Кабако-

вой, сидеть в троноподобных креслах, взирая сверху на мягкие крыши Москвы. Казалось, детство вернулось, всё вернулось, возвратилась изначальная московская жизнь, парадоксально сочетающая в себе свежесть арбуза с древностью антикварной книги. Когда папа уезжал обратно в Прагу, ключи от кабаковской мастерской надолго застревали в моих карманах, и тогда это подкрышное и величественное пространство (напоминающее внутренности парусного судна, летящего над Москвой) превращалось в кают-компанию нашего медгерменевтического круга. Там я в последний раз встретил Евтушенко: мы сидели лениво возле камина, где пылали деревянные ящики, найденные нами во дворе. И вдруг явился Евтушенко: заглянул на каминный огонек. Он не знал, что Кабаков уехал за границу, и решил по старой памяти зайти в мастерскую без звонка, как было принято в 70-е. Он был на перестроечной волне, при галстуке и в официальном черном костюме, вполне элегантно, с депутатским значком на лацкане пиджака. Он тогда сделался депутатом Верховного Совета СССР – того самого, где кипели битвы. Желая произвести на нас впечатление, он сразу же схватил трубку черного старинного эбонитового телефона (у Кабакова всегда стоял такой аппарат, как в Кремле у Сталина) и стал звонить непосредственно в Кремль, самому Горбачеву, желая высказать ему какой-то протест. С Горбачевым его не соединили, зато он дозвонился Лигачеву и долго с ним препирался, бросая на нас гордые и значительные взгляды. Его переполнял по-

литический экстаз.

– Вы видели по телевизору, как я срезал Горбачева на сегодняшнем заседании? – спрашивал он у нас в искреннем возбуждении. – Я всё ему высказал, прямо в лицо!

Мы не видели. Мы были не в курсе. Наша политическая индифферентность его изумила. Он поинтересовался моими творческими делами, спросил, продолжаю ли я писать стихи. Я ответил утвердительно и даже прочитал ему несколько стихотворений из недавно законченного поэтического цикла «Внученька», который я начал писать в дурдоме.

Онейроид пионерских оргий
В темноте прищуренных ресниц.
Наблюдают юные комсорги
Загорелый строй отроковиц.

Нежные, пустые крепыши.
Возлюбить их – Господи, не надо!
В этих сетках стонут малыши
В поисках утраченной прохлады.

Юного комфорта холодок
На ногах у летней пионерки,
Им купаться здесь разрешено
В изголовье мокрой этажерки.

После как-нибудь в пустынном сквере черном
Набреду на темный истуканчик —

Девочка облупленная с горном.
Я пред ней застыну, как тушканчик.

Всё пройдет: морские ванны, термы,
Скрип качелей в яслях и садах,
Не забуду только струйку спермы
В теплых, сонных, темных волосах.

И улыбку девочки спросонок,
Бормотанье: Дедушка, опять?
Спи, мой ангел. Ты еще ребенок.
И не надо глазки открывать.

После я прочел ему новые стихи Ануфриева:

Пили чай у Федоры,
Вышивальщицы странных узоров.
Говорит, что училась у паука,
Который свешивается с потолка.

Евтушенко, конечно, внимал всему этому с недоумением. Весь этот маразм, этот сенильный эротизм, эта ветошь, какое-то сундучное детство – и всё это из уст молодых панково-зашкафных парней. Всё это было глубоко чуждо бодрому, боевому, мускулистому духу оттепельных 60-х. Больше я его не видел. Недавно Евтушенко (Евтюх, как его называли) умер. Прикольный был человек, яркий фрукт своего времени.

После его ухода из мастерской мы пошли к Лейдерману (он тогда снимал комнату на Садовой-Черногрязской). Включили там телевизор и посмотрели всё же из любопытства перепалку Евтушенко с Горбачевым. Это оказался весьма скромный, даже ничтожный обмен репликами, вряд ли способный выделиться на фоне общего потока яростных браней, переполнявших тогдашний парламент.

На деле мы тогда были очень далеки от той сенильной ветоши, которую воспевали в стихах. Вскоре произошло в мастерской Кабакова еще одно значимое и не лишённое торжественности событие, о котором следует рассказать в торжественных интонациях. Начать следует с того, что Сережа Африка (наш общий с Ануфриевым близкий друг и нередкий соавтор в различных художественных начинаниях и предприятиях) отправился в Америку. Первое путешествие Африки в Америку оказалось на редкость триумфальным и насыщенным самыми значимыми встречами, какие только можно себе представить (такой, говорю, был год – не только у нас, но и у всей Европы!). Африка подружился с великим грибником Джоном Кейджем и удостоился его благословения, он также создал художественное оформление для балета Майкла Каннингема, и это дело имело немалый успех в Нью-Йорке. Энергичный Африканец познакомился со всеми, с кем только можно, вплоть до Майкла Джексона и Мадонны. «Чуть не выебал Мадонну», – говаривал он потом

ворчливым голосом, покачивая головой и псевдосокрушаясь, наподобие уютной Арины Родионовны.

Африка, как и Илья Кабаков, обладал даром доводить меня до смехового исступления своими рассказами (дико ценю в людях этот дар!). Помню, он заставил меня извиваться от хохота, повествуя о посещении знаменитого сексуального клуба Dump («Дыра») в Нью-Йорке. Рассказ был убийственно смешным, хотя в описываемой реальности не прослеживалось ровным счетом ничего комического, скорее клуб склонялся к мрачноватому нуарному эросу: кого-то распинали на кожаном кресте, кого-то бичевали без пощады... Напротив Африки сидела пожилая дама с бриллиантами в маленьких старых ушах, в розовом брючном костюмчике, на вид очень угрюмая и надменная: подлинное морщинистое яблочко с ветвей Мэдисон-авеню. Ни на кого не глядя, она пила свой вербеновый чай. К ней приблизился совершенно голый детина по прозвищу Патронташ: этот по голому и могучему своему телу был обернут и стянут кожаными поясами с множеством отделений-карманчиков, в каждом из которых сидела бутылочка с тем или иным ароматическим маслом. Помедитировав на даму, Патронташ выдернул из пояса флакончик с избранным благоуханием и стал уверенными движениями втирать масло в свой могучий член, одновременно его надрачивая. Работал он сосредоточенно, пока сперма не брызнула на морщинистое лицо дамы, на ее бриллианты и лацканы розового пиджака. Изрядное количество телесного

сока попало и в чашку с вербеновым чаем. Дама даже бровью не повела. Сохраняя на лице высокомерно-замкнутое выражение, она спокойно допила свой чай, в котором уже танцевали интересные сперматозоиды.

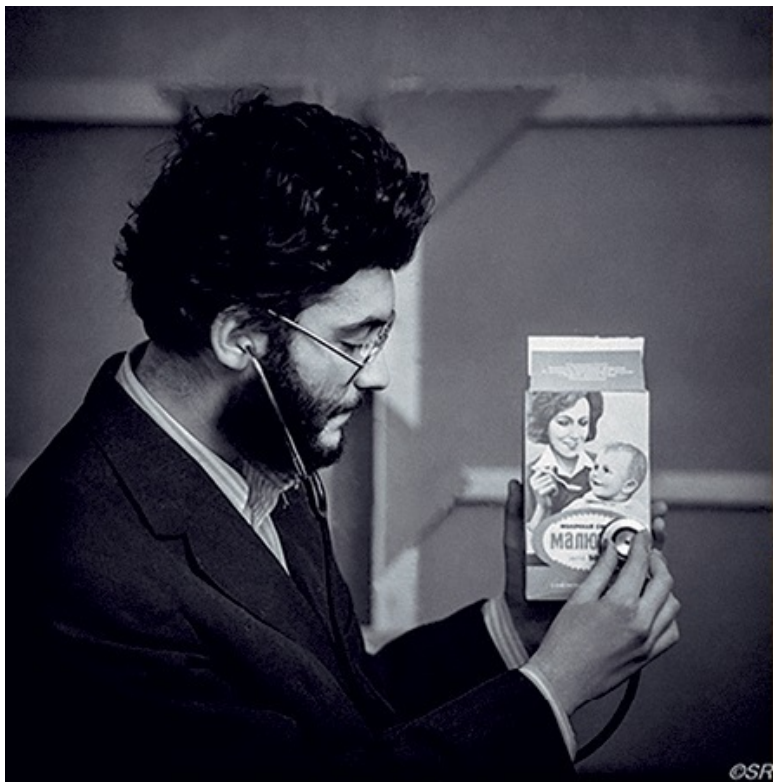
Можно было также прокатиться по пространству клуба, сидя на спине персонажа по кличке Toni the Poni. Оседланный и взнузданный, а в остальном нагой, он перемещался на четвереньках, предлагая желающим покататься на себе. Было еще много других аттракционов, и все они внушили Африке искренний восторг. Он пробыл там до утра, а утром он должен был записывать беседу с известным поэтом-битником Алленом Гинзбергом: то ли для радио, то ли для телевидения. Когда Африка явился на запись, обрюзгший кумир прошедших времен уже поджидал его и, видимо, тоже пил вербеновый чай. Африка был в таком приподнятом настроении в адрес прошедшей ночи, что стал захлеб рассказывать поэту-битнику про всё, что он увидел и ощутил в клубе Dump. Старик взглянул на него с сожалением.

– Поверьте мне, юноша, всё это лишь скромная и жалкая тень развлечений моей молодости, – сказал Гинзберг.

Африка не стал кончать в его чай. И даже не плюнул в его кофе, выгодно отличаясь от, скажем, Евтушенко, который несколько раз в моем присутствии бахвалился тем, что якобы плюнул в кофе Сальвадору Дали. Якобы за то, что тот пренебрежительно отзывался о советском искусстве.

В тот свой первый приезд в Америку Африка, среди про-

чих ярких личностей, познакомился с Тимоти Лири, одним из признанных отцов американской психоделической революции. Африка нравился в Америке всем, понравился он и психоделическому патриарху. Прощаясь с Африкой, Лири торжественно вручил ему три капсулы бурого цвета – классический LSD-25, плод восторженных усилий фармацевта Хофмана, синтезированный в лабораториях фирмы Sandoz.



В марте 1988 года Инспекция МГ провела перформанс «Полные желудочки пустого сердца». На этом перформансе мы продемонстрировали публике некое чудесное явление, которому сами не находили (и никогда не нашли впоследствии) приемлемого объяснения. Предыстория этого пер-

форманса такова: как-то вечером мы (старшие инспекторы МГ) находились в моей квартире на Речном вокзале. Под руку нам попался стетоскоп, забытый младшим инспектором А. Носиком. От нечего делать мы стали прослушивать всё вокруг и беспечно предавались этому развлечению, пока дело не дошло до коробки детского питания «Малютка». Приложив стетоскоп к груди малыша, изображенного на коробке, я с изумлением услышал, что у него бьется сердце. Услышали биение сердца и мои коллеги по Инспекции. Коробка была запечатана. Через несколько дней мы провели перформанс, где предложили публике прослушивать «Малютку». Реакция была неожиданной и бурной. Наэлектризованная атмосфера тех дней давала о себе знать. В публике закипели горячие дискуссии. Кое-кто обвинял нас в шарлатанстве, другие предлагали срочно сделать коробке детского питания электрокардиограмму. Одна женщина (которую мы прозвали Удмурткой) обвинила нас в том, что мы увлекаем народ в вакуум.

– Когда ты вернешься в Москву, – напутствовал патриарх молодого художника, – выбери двух проверенных людей. Вы должны найти в Москве сильное место и там втроем принять эти капсулы. После этого вы трое совершите психоделическую революцию в СССР.

Африка выбрал Ануфриева и меня в качестве лиц, с которыми следовало сожрать капсулы. Не то чтобы нам хотелось заниматься таким вздорным делом, как осуществле-

ние психоделической революции в СССР. Меня лично никакие революции никогда не привлекали. Просто хотелось съесть капсулы – я много читал об этом препарате и давно хотел его испробовать. Психоделическая революция, впрочем, действительно состоялась, но только уже не в СССР, а в постсоветской России. Советский Союз слишком быстро развалился и исчез, не дожив немного до упомянутой революции. А если бы дожил, то, возможно, и не исчез бы. Очень возможно, что психоделическая революция спасла бы и сохранила самую гигантскую и громоздкую страну, которая когда-либо существовала на земной коре. Во всяком случае, психоделическая революция 90-х годов, безусловно, способствовала укреплению территориальной целостности России. Психоделика, как известно, вещь объединяющая, а не разделяющая. Скорее центростремительная, чем центробежная.

В качестве «места силы», где должно было совершиться наше приобщение к дарам Тимоти Лири, я уверенно предложил мастерскую Кабакова: во-первых, у меня были ключи, во-вторых, «место силы» самое проверенное – просторный и харизматичный чердак под крышей дома «Россия», где долгое время работал гениальный и любимый нами художник, наш учитель в деле внутреннего и внешнего хохота. Был солнечный день, когда мы собрались там вчетвером. Четвертым оказался Федот, которому ничего не перепало от подарков Тимоти. Африка, Ануфриев и я съели по капсуле и сидели покуривали, ожидая наступления эффекта. Не знаю, как мои

друзья, а я немного нервничал. И вдруг нечто странное стало происходить с Федотом. Он, ничего не употреблявший, стал совершать хаотичные и бесцельные перемещения по довольно большому пространству мастерской, он ходил то кругами, то выписывая восьмерки, при этом он шатался и раскачивался в разные стороны, ноги его заплетались, в остекленевших глазах застыло некое беспомощное изумление, как будто в белом небе он увидел приближающегося дракона, толстые его губы округлились, как губы младенца, и из них изливалось какое-то нечленораздельное, тихое то ли кудахтанье, то ли причмокивание. Казалось, сознание его отчего-то полностью покинуло, но он продолжал свои хождения, постоянно сильно ударяясь всем телом о все предметы, попадавшие ему на пути: о столы, кресла, подрамники, стены... Мы перестали болтать и следили за ним как загипнотизированные, не понимая, что, собственно, с ним происходит и как на это следует реагировать. Хождения продолжались долго – минут сорок. Наконец он приблизился к кровати, рухнул на нее как подстреленный и тут же уснул замертво, запрокинув лицо к потолку. Чмокающий свист, вырывающийся из его нутра, сделался храпом спящего тела, но странный это был храп. Как бы то ни было, он уснул. И тут нас накрыло.

В начале далеких 60-х годов мистер Лири и его единомышленник мистер Лилли пытались предложить Конгрессу законопроект, который обязывал бы всех сотрудников Белого дома, включая мистера президента, приобщиться к опы-

ту восприятия лизергиновой кислоты. Не знаю, что и думать по поводу этой смущающей душу легенды. Представить себе некоторых субъектов (например Буша-младшего) под воздействием кислоты – это, знаете ли, страшно до изжоги. Лири и Лилли. Взаимоотношения этих двух авторитетов достаточно сложны. Первый был, скорее, общественным деятелем, второй – ученым, исследователем. Фамилия «Лири» звучит вполне органично в данном контексте, как бы встраиваясь в состав слова «делирий». Остается только сожалеть, что Тимоти не был потомком французских дворян, в таком случае фамилия его звучала бы еще более внятно – Тимоти де Лири. Но при чем тут лилия? Цветок, наделенный едким и трогательным ароматом. Цветок, олицетворяющий невинность. Должно быть, «лилия» представляет собой мостик к «нарциссу», а от названия последнего цветка происходит слово «наркотик». На эту тему мы с Ануфриевым впоследствии написали весьма емкий философский текст в форме диалога, который так и назывался: «Нарцисс и наркотик». Он вошел в нашу книгу «Девяностые годы».

В позднем подростковом возрасте мне нравилась книга Джона Лилли «Центр циклона», посвященная воздействию ЛСД. Эта научно-исследовательская работа циркулировала в самиздате и в мои руки попала в виде почти совсем слепого машинописного текста (копия с четвертой копки), к тому же манускрипт был ветхим, на старой пожелтевшей бумаге.

Некоторые страницы отсутствовали, из других были выдраны какие-то клочья, тем не менее в основном текст всё же можно было прочитать. Содержание текста казалось интригующим, и не менее интригующим представлялось его физическое состояние: загадочная машинописная пачка хлипких страниц в расхлябанной канцелярской папке с обтрепанными тесемками. Обожаю такие вещи.

Из книги Лилли мне больше всего запомнился и полюбился момент, когда автор пытается укрыться от некоего космического вихря в поверхности мраморного столика, вписываясь туда в качестве одной из прожилок мрамора. Как спрятаться? Это один из основополагающих вопросов, всерьез волнующих каждого мага. Не то чтобы я претендовал на звание мага, но и для меня этот вопрос всегда был одним из главнейших. Сразу вспоминается детсадовский анекдот про Чапаева: белые наступают, а Петька с Василием Ивановичем глушат водку.

– Интервенты близко, прятаться будем? – спрашивает Петька.

– Будем, – говорит Василий Иванович, – но надо еще выпить.

Выпивают. Затем еще выпивают. Затем еще по одной.

– Ты меня видишь, Петька? – спрашивает Чапаев.

– Нет, Василий Иванович.

– И я тебя не вижу. Значит, спрятались.

Вскоре после поедания бурых капсул я перебирал книги у себя на Речном, и вдруг нашел пожелтелые страницы с машинописным текстом «Центра циклона». На этих страницах я сделал небольшой альбом «Синдром редактуры» – я наклеивал поверх текста Лилли вырезанные из разных книг и журналов фотографии Гитлера, а к образу фюрера я пририсовывал различные заячьи ушки, беличьи хвосты, а кое-где даже древесные ветки. Если бы Гитлер вдруг решил избежать возмездия за свои злодеяния – что ему следовало бы предпринять? Как спрятаться? Лучше всего, конечно, притвориться животным или растением. В дальнейшем этот альбом стал источником инсталляции «Гитлер и животные», которую мы осуществили на выставке «Бинационале» в Kunsthalle Düsseldorf весной 1991 года.

После того как неведомые силы убрали Федота, нахлобучив на него тяжелый колпак сна, наступила стадия «ветер». Всё пространство кабаковской мастерской как бы надулось, затрепетало, отовсюду брызнули некие сквознячки, из разряда тех, что должны играть белыми атласными лентами, раскачивать китайские фонарики, шевелить пух на жопе Дональда Дака, бить тяжелой ветвью цветущей сирени в треснутое окно дачи. Только вот не было тут ни атласных лент, ни жопастых утят, ни сирени, ни дачи. Было надувное солнце, которое медленно проваливалось куда-то за бортики имперской фарфоровой чаши по имени Москва. Смеялись ли

мы? Еще как смеялись! Погибали от смеха, внимая тому, как шутят пространство и время. Эти ребята умели пошутить мощно, язвительно.

Вторая фаза переживания называлась «Тьма». Долго ли, коротко ли мы хохотали – не ведаю, но в какой-то момент решили отправиться на прогулку. Тут-то и поджидала нас стадия тьмы. Все, кто бывал в этой чердачной мастерской (где ныне располагается Институт проблем современного искусства имени Иосифа Бакштейна), знают, что он отделен от лестницы черного хода длинным чердачным пространством, где сейчас проходят иногда выставки, а тогда это был длинный дикий чердак, где следовало идти по шаткому и пружинящему под ногами настилу из гниловатых досок, и всё это пространство освещено было одной-единственной лампочкой. Но в тот день, точнее вечер (незаметно тогда наступали вечера), лампочка, видимо, перегорела, и мы оказались в абсолютной тьме на пружинящих дощатых мостках. Вначале эта тьма не смутила меня, так как я знал этот чердак с раннего детства, он был известен мне, как мои руки, я тысячу раз проходил по нему в полной тьме, но в тот миг специфика состояния была такова, что я вдруг забыл, где нахожусь, забыл, что это родной и знакомый кабаковский чердак – вместо этого все мы оказались лицом к лицу с эйдосом тьмы, с предвечной беспросветностью и, надо сказать, испытали космический ужас. Мы то хохотали, то визжали и свиристели от страха, то теряли друг друга, то находили в темноте протя-

нутые руки, но мы забыли не только, где мы находимся, – мы также забыли, кто мы такие, и зачем мы здесь, и с чего всё это началось, мы забыли свои имена и свое прошлое, словно бы тьма съела наше сознание. В общем, это был полный пиздец, так как аннигилировалось само время, но странное дело: во всём этом беспмятном, бессмысленном, паническом ужасе исподволь присутствовал привкус некоего непостижимого наслаждения, словно бы тайный кайф разливался на задворках нашей потерянности, словно бы за спиной нашей паники прятался улыбающийся покой, словно бы невидимый золотой нимб тайно светился за плотной завесой тьмы. И вот, прямо к золотой луне полетели комары (эта фраза написана на одном моем рисунке). Короче, мы увидели где-то с краю, на рамке этого разверзающегося суперчерного суперквадрата какой-то робкий, пыльный, грязно-золотой отблеск – это отсвет уличного фонаря пробивался сквозь пыльные стекла на лестнице черного хода. Я не знал, сколько вечностей провели мы в египетской тьме, сколько раз поседела, как луна, моя голова, сколько раз лицо мое сделалось лицом старика, но стоило мне оказаться на лестнице, как я тут же гибко встряхнулся и снова сделался двадцатидвухлетним и тут же эластично забыл об испытанном космическом ужасе: не менее эластично отыграли свое возрождение и мои товарищи на своих внутренних фронтах.

Мы спустились по знаменитым ступеням, по серым выщербленным ступеням, по которым некто когда-то провел

красную линию – она тянулась с первого этажа до самого чердака. Спустились мимо тленных мусорных ведер и прочего хлама и вышли на улицу, где месяц май уже распространял свои алхимические флюиды эротического возвращения к жизни: здесь парочки, как черные слипшиеся стрекозы, желали слипаться в тених Сретенского бульвара, а другие парочки желали струиться далее по бульварам, мимо бронзового Грибоедова, мимо индийского ресторана «Джалтаранг» на Чистых прудах, который впоследствии снесли и заменили «Белым лебедем».

Я не в силах описать все фазы, стадии, оттенки, сияния и провалы этого трипа, длившегося почти трое суток. Столь пролонгированная трансгрессия – явление в биологическом смысле чрезвычайно сложное и амбивалентное. Возникает как бы второе, дополнительное биополе, которое существует не в постоянном, но в мерцательном, пунктирном режиме. Это удвоение биопространства внутри отдельно взятого организма подключает нечто вроде «второй судьбы», то есть запускает те события, которые в противном случае остались бы украшениями гипотез. Вам повезло, любезная читательница или любезный читатель, что вы держите в руках не антропологическое исследование, а всего лишь автобиографию художника, – в противном случае вам пришлось бы вооружиться ножницами и долго вырезать из иллюстрированных журналов фотографии Гитлера, чтобы затем, пририсовав к властному лицу необедительные ушки, заклеить этими вы-

резками страницы умопомрачительного антропологического исследования, которому со временем надлежит укрыться в ветхой папке с тесемками. А как иначе? Надо же как-то спрятаться, как ни крути.

В течение этих трех суток мы, трое смелых, то теряли, то находили друг друга. Тогда не было мобильных телефонов, поэтому приходилось пользоваться мобильной телепатией, и она действовала неплохо. Я где-то блуждал, тусовался... Эту фазу трипа я, пожалуй, назвал бы «Стадия плаща» или просто «Плащ», потому что главным спутником моим в этих блужданиях был плащ – остромодный на тот момент, черный, очень просторный и длинный плащ из совершенно невесомой ткани, напоминающей своей фактурой мягкую мелко измятую бумагу («зажамканную», как сказали бы мои друзья-одесситы). Этот плащ принадлежал Антоше Носику, и он мне его великодушно одолжил «на поносить». Я протусовался в этом плаще весь апрель и первую половину мая. В апреле я носил к нему темно-зеленую фетровую шляпу моего дедушки, благороднейший цветок шляпного сада, не увядший за полвека своего цветения. В мае стало теплее, и шляпу заменили мои собственные вздыбленные волосы. Кроме того, мы с Ануфриевым, как два изошренных денди, усмотрели в аптеке (аптека оставалась неизменным источником наших вдохновений) отвратительного вида тросточки для хромых детей. Мы тут же купили себе по такой детской тросточке и везде с ними шлялись. Опирались на них бы-

ло нельзя (ростом они были не выше колена), соответственно, их следовало носить под мышкой, как стек, или же лениво ими вертеть, поигрывая. Этот атрибут аптечного дендизма выполнен был в мерзейшем советском материале: розовато-коричневый пластик, завершавшийся внизу коричневой блямбой. Эта антиэстетика нас искренне радовала. Кроме плаща и детской трости, я дополнял свой образ аптечного панка очками с зелеными стеклами, предназначенными для пенсионеров, больных глаукомой.

...И медвежата бездны в очках для
усталых глаз.

В этих зеленых стеклах отразимся теперь
мы с вами.

У них глаукома, у бедных, они не увидят нас.

Судьба наказала меня за этот невинный маскарад: через пятнадцать лет после описываемых событий выяснилось, что я болен глаукомой, и в связи с этим мне пришлось немало пострадать и измучиться, вплоть до двух операций, которые прошли далеко не гладко. Но в тот майский день я, к счастью, не обременил себя ни детской тростью, ни старческими очками. На мне был лишь плащ, огромный и легко надувающийся, словно черный парус. Он хрустел, он взаимодействовал с воздушными массами, как газетный лист, несомый ветром. Пока я блуждал по цветущим улицам и благоухающим дворам, мне временами казалось, что я исчез, что это не я, а пустой и хрустящий плащ летит над разбитыми тротуара-

ми, над теплыми асфальтами городского возбуждения. Выяснилось, что мои плечи обнимает эльфийский плащ-невидимка, волшебный помощник и рьяный агент моих самых таинственных миссий, – он развоплощал меня, а я обожаю исчезать беспечно, с хрустящим ветерком. Тогда я не знал, что это общение с плащом – всего лишь эскиз моих будущих взаимодействий с тем, что я впоследствии назову «принципом Палойи», то есть с волшебной завесой, превращающей каждого скрывающегося в «страну за пеленой». Порой плащ казался мне лепестком пепла, улетающим в небо от весеннего погребального костра...

Я не стану описывать всё то, что со мною тогда происходило, потому что если бы я сделал это, мне пришлось бы назвать данный раздел «Приключения плаща» или даже «Похождения плаща», а ведь мне надлежит описать жизнь художника, а не плаща. Скажу только, что кульминационным переживанием данного трипа стала стадия, или фаза, под названием «Мавзолей». Не знаю, как так случилось, но в эпицентре наступившей ночи мы, трое бесстрашных (но не бесстрастных), встретились на Красной площади, напротив мавзолея. Ветер трипа, надувавший наши внутренние паруса (у меня этот парус воплотился в виде плаща), привлек нас сюда, в центр ночи, в центр нашей Родины, в Центр Центра. Говорю же, психоделика вещь скорее центростремительная, нежели центробежная. Стоя втроем напротив мавзолея, мы словно бы окаменели – может быть, оцепенение пере-

далось нам от гвардейцев почетного караула, которые тогда еще стояли, сохраняя полную неподвижность, по обе стороны мавзолейного портала. Живой и бодрствующий человек, соблюдающий полную неподвижность, – это уже некий аттракцион, недаром во всех городах мира люди фотографируются с живыми статуями, с часовыми, стоящими на страже президентских и королевских дворцов. Но здесь неподвижность часовых намекала на неподвижность того, чей покой они охраняли.

Вот мы и совершили медленную, сердоликовую петлю и вновь оказались почти что в той самой точке, где мы начали наше повествование. В точке мавзолеивания.

Как с тобой не воспевать, не плакать,
Пряча хохот глубоко в душе,
Там, где еле видимый сквозь слякоть,
Спит Ильич в зеленом шалаше...

Такие вот великолепные строки написал когда-то Сережа Ануфриев. Наступит должный час, и я процитирую целиком это прекрасное стихотворение, посвященное Александру Марееву. А пока что мы наблюдаем, как зеленый шалаш превращается в супрему из бордового гранита, превращается в аккуратный зиккурат, в малахитовую шкатулку, воздвигнутую и отшлифованную в эпицентре страны, посвятившей свое существование немислимой и несбыточной надежде. Надежде на равенство, на социальную справедливость, на

солидарный мир бедных? Да, но не только. Речь идет о более глубокой и пьянящей надежде – надежде на то, что сила смерти будет преодолена. Об этом тихо поет бородатый философ Николай Федоров, угнездившийся, словно святая русская псевдоптичка, в морозной бороде Карла Маркса. Именно надежда на воскрешение мертвых отшлифовала эти гранитные стены, именно она угнездила здесь рощу синих листовенниц. Вновь и вновь глаза читают слово ЛЕНИН, выложенное из темных гранитных зеркал, – не это ли слово пытался сложить мальчик Кай из кусочков льда во дворце Снежной Королевы? И губы сами собой шепчут пасхальную мантру: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века...»

Видно, песня хочет быть вечерней,
Бархатно-пьянящей, расписной,
Чтобы слезы девочки пещерной
Отлились в улыбочке стальной!

«Красота в разных мирах» – так называется один из ранних философских текстов, принадлежащих перу Юрия Витальевича Мамлеева. На мой вкус, один из лучших философских текстов, написанных на русском языке. Красота советского мира – щемящая, космогоническая, жреческая и одновременно детская – распахнулась перед нами. До сего момента эта красота скрывалась за покровом скуки, привычки, страха, отвращения, величия, усталости, иронии, скрывалась в скорлупах смеха и ужаса, и тут вдруг она сбросила

с себя все эти покровы и предстала обнаженной, как Венера, восстающая из крови оскопленного Урана: недаром серп (улыбочка стальная), орудие кастрации, вошел в советскую мандалу инь – ян в качестве аспекта инь, подрубающего под корень фаллический молот. Невозможно было не почувствовать в этой обнаженности, в этом любовном бесстыдстве, в этой неопишуемой нежности нечто прощальное. Так случается в детских сказках, когда волшебный персонаж засобирается в дорогу. Такое чувство близкого расставания испытывает Джейн, когда суровая Мэри Поппинс, никогда не позволявшая себе никаких нежностей, внезапно гладит ее по волосам и дарит ей медальон. В этот момент слезы орошают лицо Джейн, она понимает, что расставание близко. Уйду, когда переменится ветер... Как сказано в Песни Песней:

Пробудись, северный ветер,
Приди и ты, ветер южный,
Повея в саду моем – пусть
Наполнится ароматами...

В сад я спустилась, к зарослям орешника, посмотреть, завязалась ли завязь, зацвели ли деревья граната... Гранатовые звезды цветут над Кремлем, и всё еще сонно развевается красный флаг на фоне черного неба. Ветер, западный ветер начинается с игривых сквознячков, с шелковых ветерков, стремящихся играть белыми атласными лентами, ерошить пух на жопе Дон-Дака, колотить сиренью в надтресну-

тое окно дачи. Но быстро эти сквознячки, скользящие вдоль несуществующих дач, собираются в ураган, с корнем вырывающий из земли Большую Карусель и уносящий ее вдаль вместе с одинокой усмехающейся волшебницей, гордо восседающей на одной из облупленных лошадок.

Так заканчивается сказка о Мэри Поппинс. Так же заканчивается наш роман «Мифогенная любовь каст». Карусель улетает на Запад. Но позвольте (молчаливо восклицают внимательные парни, сожравшие бурые капсулы), отчего же она улетает на Запад, если ее уносит западный ветер? В том-то и дело: чтобы совершить движение захвата, чтобы совершить акт похищения, западный ветер должен удариться о землю и превратиться в ветер восточный. Такие уж ребята эти ветры.

Пробудись, западный ветер!

Приди и ты, ветер восточный.

Вскоре после этого ночного залипания на Красной площади Африка с Ануфриевым совершили перформативное деяние в отношении другого сакрального объекта советского мира – в адрес скульптуры «Рабочий и колхозница». Грубо говоря, они забрались в пизду металлической колхозницы, как два деятельных сперматозоида, осеменившие свою аграрную *Urmutter*. Этот героический поступок двух шалун-мальчишек вошел в историю завершающей фазы совет-

ского искусства, которому жить оставалось не больше двух лет.

Вскоре подкатил мой день рождения. Слишком долго я оставался двадцатидвухлетним на этих страницах. И вот мне стало двадцать три. Праздновали, опять же, в кабаковской мастерской, всего несколько человек – Сережа Ануфриев с Машей Чуйковой, Лейдерман с женой Ирой, Илья Медков, Емеля Захаров, Антоша Носик со своей тогдашней супругой-скрипачкой Олей Штерн и две девочки, Таня и Вика: одна темненькая и кудрявая, с веснушками, а другая задумчивая, смугловатая, с русыми прямыми волосами.

Только русская девочка – девочка в платьице белом
По тропинке бежит, удаляясь в загадочный бор.

Емеля подарил мне крупную бутылку виски, размером с двухлетнего младенца. На следующий день в обнимку с этой бутылкой, а также вместе с девочками Таней и Викторией, я уехал в Крым.

Янтарное пойло мы выпили в тамбуре с кучерявой Танечкой. Вика не любила алкоголь, как, впрочем, и прочие шальные вещества. Она была конфуцианкой, если следовать той классификации девушек, что предложена нами в «Словаре московского концептуализма».

Поселились мы в Коктебеле, на территории родного литфондовского парка («на писдоме», по-местному), у тети Ма-

ши, которая была писательской поварихой и обладала частным коттеджем в парковых пределах. Там она и сдала нам темную и приятную комнату с верандой. Местечко укромное, у самого болотца, в двух шагах от восьмого корпуса, где мы с мамой любили жить в моем детстве. Относительно этого болотца, которое прежде было парковой речушкой, должен сказать, что оно поражало мое воображение тем, что там, среди зеленой ряски, всегда валялся псевдотруп – это был портновский манекен в виде одинокого черного торса, бархатистого по своей природе, медленно сливающийся с царством лягушек. Предполагалось, что мы будем тусоваться втроем, но у Танюши вдруг стряслось нечто в Москве, в результате чего она вынуждена была вскоре вернуться в столицу. Оставшись наедине, мы с Викой молниеносно влюбились друг в друга. Впрочем, я еще прежде, видимо, влюбился в нее, но не осознавал этого с полной ясностью. Воспламенение взаимной любви произошло с дикой скоростью и началось с весьма загадочного эпизода. Мы влачили по набережной наши худые и стройные длинноногие тела, уже успевшие пропитаться насквозь йодом и солью. И говорили о гипнозе. Мы проходили мимо дома Волошина, и я стал рассказывать Вике про психодрамы, которые наш друг гипнотизер Леви устраивал здесь в 70-е годы. Дело дошло до того, что Вика (почему-то необыкновенно заинтересовавшись этой темой) попросила меня, чтобы я попробовал ее загипнотизировать. Мы вошли в писательский парк (писпарк), сели на лавочку, и

я, будучи совершенно уверен в грядущей неудаче, стал пробовать ввести девушку в состояние гипнотического транса. Никакого опыта в подобных делах, да и никакой склонности к такого рода воздействиям я в себе прежде не наблюдал, но результат превзошел ожидания. Правда, это оказался не тот транс, который я себе смутно воображал. Я представлял, что девочка, например, уснет и будет во сне блаженно улыбаться. Но она не уснула – напротив, стала бешено хохотать, хохотать до рыданий, швыряя мне в лицо какие-то поразительно странные и восторженные оскорбления, какие-то метафизические угрозы. В тот же день мы телесно воссоединились с этой девятнадцатилетней девушкой, и были мы вместе более десяти лет – жили-были, не тужили. Хотя иногда тужили. Всё бывало, конечно. Что же касается таинственного эпизода с «гипнозом», думаю, что здесь не обошлось без последствий бурой капсулы. Вику, что называется, задело шлейфом.

Вскоре Таня Каганова и Вика Самойлова были приняты в структуру «Медицинской герменевтики» в качестве младших инспекторов под кодовыми именами Фрекен и Элли. Святая девочка Элли из сказки «Волшебник Изумрудного города». В американском оригинале сказка называется The Wizard of Oz, а девочку там зовут Дороти. Но мне больше нравится русско-советская версия – Элли. Поэтому буду порой называть этим именем мою обожаемую подругу тех лет. Я так сильно влюбился в нее, что глаза у меня сверкали, как два сумасшедших алмаза. Это подметил Генрих Сапгир, че-

ловек пронизательный в таких делах. Встретив меня в коктейбельской столовке «Волна», он уверенно воскликнул: «Ух, как у тебя сверкают глаза! Не иначе влюбился, котятра!» Я не отрицал. Счастливейший месяц провели мы на море: плавали, ебались, жрали черешню, валандались по кафешкам, выслеживая то мороженое с орешками, то салатик из топинамбура. Каждое кафе было одновременно видеосалоном. С наступлением сумерек гнусавый голос переводчика Володарского лился из всех открытых дверей. Этот невидимый, но повсеместно присутствующий человек озвучивал все пиратские фильмы тех лет: о нем говорили, что он работает, зажав нос бельевой прищепкой, чтобы избежать ответственности. А до сумерек потоком шли клипы. Тогда в моде были черно-белые клипы с быстро бегущими по небу клипа облаками: *What a wonderful world, Oh I need a friend make me happy* – да, всё это правда, телевизор никогда не врет, особенно когда он подключен к видеомagneтофону. Мы сидели на набережных лавках в окружении Сапгира и Холина, внимая их шуткам, стихам и остроумным замечаниям, как сидели когда-то между ними мои молодые и влюбленные родители. В один из дней нас посетили Илья Медков и Емеля Захаров: они были в Коктебеле проездом. Глаза у парней тоже сверкали, но не от любви, а от деловой активности, в которую ребята как раз начали интенсивно погружаться. Их пробивала сладкая нервная дрожь, как у гончих собак, взявших след. По этому следу (по следу денег) они и помчались. Это уже были не те

расслабленные и вальяжные Илья и Емеля, с которыми я тусовался здесь прошлым и позапрошлым летом. Они изменились, в отличие от неизменных Холина и Сапгира.

В середине лета мы зачем-то вернулись в Москву. Должно быть, какие-то дела нас заставили, а какие – не помню. Мы приехали, радостные и загорелые, и вдруг, в таком вот счастливом виде, я оказался в роли чуть ли не подсудимого на странном «суде совести», который затеяли Иосиф Бакштейн и Лиза Шмитц. Дело в том, что выставка «Искусство», послужившая причиной нашего веселого пребывания в Западном Берлине осенью 1988 года, теперь (согласно заранее определенному плану) состоялась в Москве, и берлинские художники из коммуны «Бомбоколори» явились в наш город с ответным визитом. Бакштейн, курировавший эту выставку с московской стороны, решил поселить германцев на Николиной Горе, в одной из больших старосоветских дач, которыми славится этот величественный дачный поселок. Дача была огромной, комнат в ней было много, и здесь тусовались не только берлинцы, но и некоторая часть той пестрой маленькой интернациональной толпы, которую мы встретили в Западном Берлине на вокзале. Приехали на дачу и мы с Элли – тусоваться с берлинцами и прочими друзьями. И тут вдруг выяснилось, что позвали меня туда не только лишь ради дружеского общения, но также ради некоего товарищеского суда. Причина процесса была проста и непосредственного отношения ко мне не имела. Уже после того как я по-

кинул Западный Берлин, Сережа Ануфриев, как принято говорить в старокитайской литературе, «сошелся в тени туютового дерева» с девушкой по имени Андреа и поэтому задержался в Берлине до весны. По ходу дела он одолжил некоторое количество денег у членов сообщества «Бомбокопори». Все, кто знаком с Сережей, понимают, что одалживая деньги такому человеку, ты на самом деле эти деньги просто ему даришь. Но честные немецкие души этого не знали. И (несмотря на глубокую их доброту) дрогнули немецкие сердца, когда осознали, что Сережа не собирается возвращать деньги. Сам Сережа к моменту приезда немецких друзей предусмотрительно свалил в Одессу, поэтому руководители проекта Бакштейн и Шмитц решили устроить на никологорской даче показательный процесс надо мной – на том основании, что мы с Сережей входим в одну группу Инспекция «Медицинская герменевтика». Для чего это было устроено – неясно. Может, они думали, что я оплачу Сережины долги? Но денег у меня не было, и, кажется, они это знали. Скорее, им требовалось некое моральное удовлетворение: я должен был продемонстрировать то ли какое-то групповое покаяние, что ли, или гневное возмущение по поводу беспринципности моего соавтора. Может быть, даже предполагалось, что, узнав о содеянном, я в ужасе откажусь от дружбы с таким аморальным человеком, Сережа будет изгнан с позором из группы МГ и таким образом наказан. Во всём этом было нечто коммунально-коллективистское, даже

нечто раннесоветское. Я впервые столкнулся с коллективизмом левого, западного типа. Помню длинный стол, за которым все они сидели. Меня, как настоящего обвиняемого, посадили на стул перед трибуналом, стоявший как бы несколько отдельно: как бы стул позора. Лиза Шмитц произносила длинную обвинительную речь, глядя мне прямо в душу своими маленькими, добрыми, но строгими глазами, глубоко залегающими в морщинах грубоватого тевтонского лица. Кажется, все они искренне наслаждались тем, что всё происходит так дружно, так серьезно и ответственно, так справедливо. От меня требовалось словесно осудить Ануфриева. Я этого не сделал. А с какого хуя? Сделать они мне ничего не могли. Всё это был просто словесный пердеж, слегка отравляющий благоуханный сосновый воздух.

Со мной у них не вышло. Но желание как-то наказать Сережу требовало своего удовлетворения. Тогда они надавили на Монастырского, и он на целый год отказал Сереже от дома. Предполагалось, наверное, что разлука с учителем должна больно ранить сердце провинившегося ученика. Дебилизм полнейший. Вообще-то я всегда относился с восторгом к нашему концептуальному кругу, который я так удачно предложил называть «номой» (обозначение это весьма прижилось, во всяком случае, на какой-то большой период). Сохраняю это восторженное отношение и по сей день. Но везде есть своя тупинка. Оболтус был, конечно, не прав, но балаган с общественным осуждением был в тысячу раз мерзее.

В скобках замечу, что берлинские долги Оболтуса впоследствии были выплачены с избытком. Уезжая из Западного Берлина, мы оставили большую пачку наших рисунков. Эти рисунки потом всплывали на аукционах, о чем мне становилось известно благодаря моему лондонскому агенту Елене Уокер. Рисунки продавались за довольно приличные суммы – уж не знаю, кто из честных немцев получал эти деньги, но, как бы то ни было, он или она никогда не проявили поползновений поделиться этими доходами со мной или с Ануфриевым. Но мы не станем подвергать их за это товарищескому осуждению.

Я сделал тогда в Берлине большую серию, объединенную темой цифр. На этих рисунках длинные и довольно загадочные столбцы цифр соседствовали с произвольными фигуративными элементами – ангелы, серафимы, херувимы, колобки, снеговики, священники, колокольни, офицеры, девочки.

Вспомнил я об этом товарищеском суде исключительно потому, что то был первый мой визит на Николину Горю. Сейчас я здесь живу, и среди никологорских сосен пишу эти воспоминания, когда нахожу время между тусовками на речке и прогулками на велике.

В общем, я сбежал с товарищеского суда и отправился гулять и купаться в реке вместе с Ритой и Витей Тупицыными и их дочкой Машей, которой было тогда четырнадцать лет и она собиралась стать американской писательницей. Она действительно стала американской писательницей, и (по словам

Риты и Вити) первым ее рассказом, написанным в том году после возвращения в Нью-Йорк, был рассказ обо мне. Горжусь этим, хотя мне и не привелось прочитать этот текст.

Сейчас я сообразил, что это был мой второй визит на Николину Гору. Первый случился весной 1988 года и включал в себя удивительную экскурсию на дачу прокурора Вышинского. Дача была столь же мрачной, сколь и репутация прокурора, и с 30-х годов никто на ней не жил: всё сохранилось нетронутым – огромные кабинеты с черными письменными столами, роши стульев с жесткими спинками, стоящие вдоль стен, словно прокурор и на даче принимал посетителей, отравляя их раненые души лучами ужаса, скуки и скорби. Не помню, кто привел меня туда, кто вскрыл для моих изумленных глаз этот герметично замкнутый и мертвый дом. Налицо ассоциативная связка между дачей прокурора, одного из застрельщиков сталинских процессов 1937 года, и тем кукольным процессом, который пытались устроить над мной на другой даче Бакштейн и Шмитц. Это не помешало мне (а может быть даже и помогло, за счет выстраивания быстрого контраста) полюбить Николину Гору, одну из волшебных гор, с ее холодной и быстрой рекой, с ее готически-соснами и дачными верандами, в чьих витражных стеклах огни заката вспыхивают, как в глазах загипнотизированных девушек.

Визит на дачу Вышинского произвел на меня такое сильное впечатление, что когда мы вскоре после этого затеяли

с Сережей Ануфриевым писать книгу «Восьмидесятые годы» (где посвятили по главе каждому из наших соратников по московскому концептуальному кругу), мы вставили в ряд наших реальных коллег и друзей одного вымышленного нами персонажа – изысканного подмосковного концептуалиста Аркадия Вышинского. Будучи правнуком отвратительного прокурора, Аркадий, напротив, добр, благороден, нежен, философичен и хрупок. Этот нелюдимый интеллеktуал безвыездно живет на той мертвенной и гигантской даче, где я побывал и где на самом деле не живет никто. В качестве концептуалиста Аркадий углубленно работает с телесными жидкостями, то есть со слезами, кровью, потом, спермой, мочой, слюной, соплями, смазочными эссенциями и прочими физиологическими соками, которые Аркадий разными способами извлекает из глубин своего организма с целью составить из них некий проявитель, способный проявить фотографию его души. Я давно не перечитывал наш текст о творчестве Аркадия Вышинского (надеюсь, этот текст не сгинул безвозвратно в пучинах моего архива), поэтому не особо помню названия одиноких его перформансов, но это не препятствует мне ясно видеть мысленным взором его худощавое и бледное лицо, юношеская невзрачность которого искажена или украшена скованной улыбкой, а также такими же точно круглыми очками, какими блестел его прадед, произнося обвинительные речи против измученных пытками подсудимых.

И наконец, тем летом 1989 года произошло событие столь радостное, что, приближаясь к его описанию, я невольно начинаю тормозить, как ребенок, оттягивающий поедание любимого лакомства. Здесь имеет место то, что немцы называют Vorlust, а по-английски postponed pleasure, хотя между этими понятиями наблюдается ясное смысловое различие: немецкое понятие можно перевести как «преднаслаждение», а английское следует переводить как «отложенное наслаждение». Впрочем, что же это за событие и как его описать? Очень и очень сложно подобрать слова для описания такого рода событий. Если я скажу «я умер», то это может ввести в заблуждение. Если скажу «я умер и воскрес» – это тоже может породить нежелательные ассоциации. Да и вообще, если человек говорит о себе «я умер», то при чем тут «радостное событие»? Впрочем, если французы правы и оргазм – это маленькая смерть, то не должно ли это означать, что смерть – это Большой Оргазм?

Деликатно и незаметно для всех умерев и воскреснув, я взял за руку улыбающуюся Элли и отправился с ней в Прибалтику. Компанию нам составили Юра Лейдерман и его жена Ира. Мы приехали сначала в Таллин, прогулялись по его улицам в тумане, затем отправились в Кясму и долго бродили по этой приморской деревушке в поисках Андрея Монастырского или Гоги Кизевальтера, но не нашли ни того ни другого. Тогда мы сели в поезд и поехали в Ригу. Это была

электричка, которая медленно влачила между балтийскими полями и лесочками. Остановок было много, и постепенно вагон наполнялся людьми. Не всем хватало места на деревянных лавках. Я решил поспать и съел таблетку снотворного. Но тут вошла в вагон и встала возле меня молодая беременная женщина. Я уступил ей место и проснулся уже на вокзале в Риге, лежа звездой в проходе между сиденьями. Удивленные люди с баулами переступали через меня. Поселились мы в Юрмале, сняв большую двухкомнатную мансарду у женщины по имени Вия. Плескались в мелких балтийских водах, валялись на теплом песочке. В ресторане в Узваре мы наблюдали, как молодую латышку выдают замуж за молодого англичанина. Ресторан был рыбацкий, и англичанин выглядел как бледная рыба, попавшая в латышские сети. Он сидел одинокий, узкоплечий, щепкообразный, окруженный краснолицыми хохотливыми рыболовами. Невеста его была крепка телом, сам же он выглядел как заблудившийся студент-интроверт, сбежавший из Оксфорда. Было в этом зрелище что-то в духе романов Ивлина Во. Мы с Лейдером в тот момент писали большой текст под названием «Шубки без швов. Критика анималистского дискурса». Животные занимали наши мысли. Животные живые и игрушечные, животные воображаемые и настоящие. От тех рассуждений пошла серия объектов, и особенно эта тема развернулась в виде двух инсталляций, которые мы показали потом на нашей первой сольной выставке в Праге. Инсталляции на-

зывались «Одинокий ребенок» и «Широкошагающий ребенок», и в этих работах фигурировали плюшевые игрушки – звери, придавленные стеклами. Сверху стекла были посыпаны песком, на котором прочитывался след младенческой ступни. Но об этом речь впереди. Как-то раз, возвращаясь на дачу, мы нашли котенка и назвали его Штирлиц. Тут же мы сделали соответствующий арт-проект: фотография котенка, у которого на лапке повязка со свастикой – вроде той на рукавной ленте, которую носил Макс Отто фон Штирлиц, а на самом деле Максим Максимович Исаев, герой сериала «Семнадцать мгновений весны». Мы сами изготовили эту повязку со свастикой, но надо сказать, что котенок проявил себя настоящим антифашистом и яростно срывал с себя повязку с нацистским символом, не желая с ней фотографироваться. Нам всё же удалось сделать хорошую фотографию, но на память об этом деле долго не заживали царапины на наших руках, оставшиеся от острых когтей упрямого котенка. Мы вознаградили его щедрой порцией молока и рыбы, а арт-проект был впоследствии напечатан в каталоге выставки «Бинационале». Этот арт-проект как бы наследовал другому – с котом Иосифом, что был опубликован перед этим в русском «Флэш Арте».

Вернувшись в Москву, мы по приглашению нашего друга Михаила Рыклина произвели перформанс в московском Институте философии (так называемый «Желтый дом»). Перформанс назывался «Сеанс одновременного дискурса». Я

считаю эту нашу работу очень удачной, так как она относится к области экспериментального текстообразования, которая сама по себе всегда меня очень привлекала. Перформанс воспроизводил ситуацию сеанса одновременной игры в шахматы. Только вместо одного гроссмейстера было три – Ануфриев, Лейдерман и я. Столы были поставлены большой буквой П, за столами сидели люди, а перед каждым вместо шахматной доски лежала открытая тетрадь и ручка. Мы переходили от человека к человеку и со всеми вели письменный диалог в тетрадях: люди писали реплики, мы на них отвечали. И реплики, и наши ответы иногда были довольно развернутыми. Эти письменные беседы оказались почти все очень интересными и насыщенными, таким образом за один вечер создалась как бы целая книга – отдельным изданием она, к сожалению, не вышла, но некоторые из этих бесед впоследствии были опубликованы петербургским журналом «Кабинет».



Объект МГ «Нарезание». 1988

Хотя все участники перформанса рассаживались за столами вполне стихийно, тем не менее все они четко разделились на три группы. За одной из «ножек» буквы П сидели философы, все почему-то мужского пола, многие – сотрудники института. За теми столами, что составляли верхнюю планку буквы П, сидели художники – в основном наши друзья, явившиеся по нашему приглашению. Напротив же философов сидели почти исключительно женщины (некоторые из них тоже сотрудницы института). Характер высказываний и общее настроение этих трех групп очень отличались

друг от друга. Философы писали обильно, копали глубоко, но пребывали как бы в общем хмуром, тревожном и подавленном настроении. Несмотря на философский язык, которым они пользовались в своих репликах, было очевидно, что их волнуют вполне конкретные, земные и при этом остроактуальные проблемы: нарастающий хаос в стране, дефицит продуктов питания, задержки в выплате зарплат, политическая нестабильность и прочие трудности. Мы пытались отвечать «терапевтически», чтобы каким-то образом смягчить их тревожно-подозрительное состояние. По контрасту с философами наши друзья художники пребывали в приподнятом и игривом состоянии духа, и наши беседы с ними в основном имели характер обмена веселыми дзенскими шифровками-шутками. Но, так или иначе, философы и художники реагировали на актуальное. Различие их настроения не кажется странным: философы, привязанные к одной из советских структур, то есть к своему институту, ощущали надвигающееся затопление кормящих институций, в то время как художники из андерграунда находились на пике веселящего общественного внимания и западного интереса. Что же касается женщин, то они писали о вечном, о базовом: отношения с партнерами, дети, домашние животные, физическое и душевное здоровье... Тема найденного котенка протянула и сюда свою лапку. Одна женщина писала: «Мы с мужем давно не улыбались друг другу. Но вот нашли котенка. Он песчаного цвета и очень отважный, как маленький лев. Впервые

за долгое время между мной и мужем словно бы треснул какой-то лед...» Искренность этих реплик, написанных в тетрадках шариковой ручкой, была поразительной. Если за пушистыми спинами Иосифа Прекрасного и Штирлица вставали воображаемые люди, герои, то в этом песчаном котенке проступало воображаемое животное – лев.

Между тем иной лев (крылатый, с нимбом и Святым Писанием в лапах) стал настойчиво проникать в мои сны. Точнее, проникал не столько сам лев, сколько опекаемый им город. Венеция, где я еще никогда не был, властно забирала меня, затягивая по тяжелому плеску своих каналов, по замшелым коврам, по отблескам своих граненых адриатических склянок, по путям, которыми мне еще только предстояло пройти. Кажется, нечто подобное происходило и с Ануфриевым. Вот его стихи, посвященные нам, отважным инспекторам МГ. Стихи так и назывались:

НАМ

Мы не знаем, действительно просто не знаем
Ничего из того, что положено вроде бы знать.
И поэтому так далеко мы порой улетаем,
Как на жертвенник, тело свое возложив на кровать.
Приготовьтесь же, боги, вкусить фимиамы извилин:
То фиалки душистой, то соли морской аромат.
Вспомнить те времена, когда вы почитаемы были
И священною речью был ныне униженный мат.
Принимая весну, всё ликует в неведомом царстве,
И муаровый шелк отражает сияние глаз.
На далеких заставах друзья, соревнуясь в гусарстве,
В Запорожье ушли, и на Дон, и за Синий Кавказ.
В Запорожье Хенаро, Хуан на Дону казакует
Беня Фактор в Одессе, известны еще имена.
Потому веселится душа, потому не тоскует,
Что не может с такими людьми тосковать!
Струны Стикса! О если Гварнери дель Джезу
В глубине янтаря нам откроет секреты свои,
Вот тогда мы сыграем – цветами распустится жезл.
И пробьются ключи. И, сверкая, прольются ручьи.
И тогда по каналу, в гондоле свернувшись клубочком,
Поплывем, как медовый звук скрипки в эфире плывет —
Лишь настроить на лад нарукавную радиоточку,
И Харона ладья остроносим смычком запоет!
Да, веселье души – это главное знание наше!

И важнее, чем это, практически нет ничего!
Дайте соли, солдаты! Вкус жизни становится краше!
Мы наполним бокалы, и можно начать торжество!

Это стихотворение – упоительный гимн медгерменевтической мечтательности и тем магическим свойствам, которыми нас награждали некие полупрозрачные или совершенно прозрачные миры, по чьим тропам мы блуждали наподобие разноцветных теней, столь добросердечных и беспечных, столь бескорыстно любознательных и смешливых, что на нас сыпались невесомыми каскадами охапки непредсказуемых блаженств. Меня всегда восхищала в Сергее Александровиче (как, впрочем, и во мне самом) способность одновременно изготавливать чрезвычайно аскетичные, сухие и простые объекты и инсталляции в духе раннего дадаизма или классического концептуализма и в то же время извергать потоки маньеристических стихов, где словно бы толпы Мандельштамов, Гумилевых, Анненских, Кузминых, Волошиных, Ахматовых, Хармсов, Заболоцких, Цветаевых и прочих серебряных и платиновых поэтов как бы совместно, солидарными усилиями, качают из глубин галлюцинаторного литфонда изумрудную нефть, как, наверное, сказал бы (ляпнул, проронил) кто-нибудь из этих блаженных девиц и парней. Проницательные исследователи, наподобие Барта или Лотмана, когда-нибудь напишут многострочные комментарии к каждой строке этого стихотворения, хотя, воз-

можно, они уже это сделали, я просто не в курсе, за всем не уследишь. С удовольствием сделал бы это сам – чего стоит одно лишь «кастанедовское» четверостишие, где мексиканские маги разбрызганы по географии угасающего Советского Союза! И кто, как не я, смог бы со знанием дела, с уверенностью опытного инженера объяснить значение такого технического термина, как «нарукавная радиоточка»?

Тем временем мы дописали шестую книгу МГ «Идеотехники и рекреация», завершив тем самым шестую серию МГ. Основная часть этой книги написана в форме комментариев к рассказам Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Пожалуй, это одна из самых «тяжелых» книг МГ (соперничать с ней в этом отношении может только третья книга «Зона инкриминаций»). Я, возможно, взялся бы суммировать дискуссионное содержание «Идеотехники и рекреации» в трех абзацах, но сделаю это в другой раз. Под определением «тяжелая книга» понимаю, конечно, не мрачность, а количество специально изобретенных терминов и густоту и прихотливость их использования. Людей, прочитавших эту книгу целиком, можно пересчитать по пальцам, тем не менее она претерпела уже два издания. Первый раз ее выпустило в 1993 году издательство *Obscuri Viri* (на русском и английском языках), второй раз, только по-русски, она вышла в составе «Пустотного канона» «Медгерменевтики» (издатель Герман Титов, серия «Библиотека московского концептуализма»). Писали мы эту книгу то у меня на Речном, то в комнате, которую Лейдер-

ман снимал на Садовой-Черногрязской: классическая комната в коммуналке, с ковром на стене, диваном, зеркальным трюмо, с грязными окнами, выходящими на Садовое кольцо. Хозяин комнаты, грузный и крупный мужчина средних лет, иногда напивался и тогда приходил сюда поспать на диване. Как-то раз мы сидели и взирали на его толстое тело в сером свитере, храпящее перед нами. Поскольку мы постоянно изобретали тогда различные объекты и инсталляции для западных выставок, мы подумали, что идеально было бы выставить на одной из них (желательно очень престижной, в каком-нибудь известном музее) этот диван с храпящим на нем хозяином. Инсталляция так и должна была называться: «Хозяин». В этой же комнате мы снимали постановочную фотографию для нашей дюссельдорфской «серой» книги «На шести книгах». На этой фотографии мы изображаем сцену из рассказа Конан Дойля «Пестрая лента». Роль змеи исполняет жалкая тряпичная змея, которой любил играть кот Лейдермана. Я целюсь в нее из игрушечного пистолета. На Ануфриеве те самые фашистские сапоги из Берлина, которые иногда провоцировали его на приступы агрессии.

В конце лета мы при помощи Зайделя завладели шестикомнатной квартирой в сквоте на Фурманном переулке. Зайдель выбил старинную высокую дверь своей длинной ногой, и мы вошли. В ветхих комнатах какие-то вещи растерянно и мистично тарасились на нас в жемчужном пасмурном свете.

Здесь всегда казалось, что денек выдался пасмурный: слишком грязными были окна. Кое-где уцелела старинная мебель. Мы прошлись по комнатам. В последней комнате спал бомж на пружинном матрасе. Он даже не заметил, как мы вошли. Не раздумывая ни секунды, Зайдель ударил его ногой в живот. Бомж заорал и тут же исчез, как если бы испарился. Так эта заброшенная квартира стала нашей почти на девять месяцев. Брутальные тогда были нравы, в том числе и в среде художников. Вскоре все знали, что тринадцатая квартира – это мастерская «Медгерменевтики». Мы были известной и уважаемой группой в Москве, а сквозь сквот на Фурманном проходили все более или менее продвинутые в области искусства люди, особенно приезжающие из-за границы. Многие хотели купить работы, другие договаривались о выставке, желали сделать статью, репортаж и т. п. Заходили они и в тринадцатую квартиру, чтобы посмотреть, чем занимается «Медгерменевтика». Но вместо целеустремленных и преданных современному искусству молодых авторов, увлеченно показывающих свои талантливые и интересные работы (именно это гости наблюдали во всех прочих мастерских), в тринадцатой гостей встречали тлен, запустение и нечто странное. Им открывал Федот, а это человек такого свойства, что бывает достаточно взглянуть в его огромные светлые глаза, чтобы испытать ощущение ледящего провала в открытый космос. Да, мы поселили в этой квартире Федота, тогда младшего инспектора МГ, а он превратил три-

надцатую квартиру в то, что сейчас назвали бы интерактивной инсталляцией. Федот имитировал деятеля некоего замшелого ископаемого офиса: он сидел за старинным канцелярским столом, в нарукавниках (как клерки начала двадцатого века) и постоянно строчил на старинной пишущей машинке какие-то отчеты и докладные записки в Инспекционную Коллегию МГ. Никаких картин, рисунков, скульптур, фотографий или чего-либо еще, хотя бы отдаленно напоминающего художественную продукцию, гостям не показывали. Собственно, им вообще ничего не показывали, но они могли изумленно созерцать погруженного в замогильные дела мистического клерка, в то время как в других комнатах гнездились еще более леденящие душу персонажи. На кухне, возле огромного котла, в котором варилось что-то зловонное, застывал некто Саша – шкафообразный и совершенно бессловесный человек в тельняшке, обладающий лишь одним зубом во рту (очень добрый и отзывчивый парень, между прочим). Две девочки, Соня и Мурка, обе бледненькие, юные и по-своему прекрасные, занимались какими-то девичьими делами, игнорируя присутствие посетителей. Короче, всё это выглядело очень стильно и чудовищно и, конечно же, весьма укрепляло загадочную репутацию нашей группы. Впрочем, не надо думать, что это была какая-то «показуха» и шоу для гостей. Нет, конечно. Скорее имел место глубинный «внутренний перформанс», то есть сама себя «артифицирующая» (как сказали бы мы тогда) реальность.

Вспоминаю тринадцатую квартиру с чувством странного мистического уюта. Бывало, я каждый день ощущал потребность наведаться туда, хотя ни разу не остался там на ночь. Мне нравилось (особенно в дождливые дни) смотреть в окна: в здании напротив располагался Институт глазных болезней имени Гельмгольца, где меня мучили в детстве, вливая в мои глаза атропин, расширяя мои детские зрачки до состояния черных блестящих болтов. Из недр пещерной тринадцатой квартиры я смотрел в ярко освещенные окна напротив, видя, как врачи в кабинетах принимают своих пациентов. Федот что-то бубнил за моей спиной. Вот мои стихи, посвященные Володе Федорову (он же Федот, он же Коба, он же Шребер, он же Драгоценный Фетиш МГ). Впрочем, в равной мере эти стихи посвящены загадочной тринадцатой квартире, которая тогда обволакивала нас своим заброшенным уютом.

На московских вокзалах открываются утром кафе,
Люд ночной превращается в утренний славно.
Ветеран-баянист в темно-синем своем галифе
Расчихляет баян, чтобы тайное сделалось явным.

И сберкассы московские где-то в районе восьми
Зажигают неоновый пояс за зимнею спячкой,
И московские школы наполняются гулко детьми
И по пятнышкам желтым мочи собачка идет за собачкой.

В институте Гельмгольца входит женщина в свой кабинет

И за нею сквозь окна напротив наблюдает как будто бы кто-то.

А над облачным слоем ослепительный утренний свет
Разливается ровно под винтом самолета.

В кабинете повсюду стеклянные копии глаз, —
Женское тело врача протирает их тряпочкой сонно,
Ну а в доме напротив поставили чайник на газ,
Там ведь кто-то таится в заброшенной комнате темной.

Вспомни Курский вокзал! Вспомни партии скачущий курс!

Вспомни дискурса пульс под пропеллером рыжего сноба!
Перекрестки и связки. И кабинки несбыточный вкус.
И фиалковый запах. И расплывчатый контур сугроба.

Ну же, здравствуй, Малыш! Это Карлсон вновь прилетел.
Снова тычется в окна веснушчатым сплюсненным рыльцем.

Но Малыш не откроет окно. Малыш поседел.

Осторожно трет руки свои, словно моюсь невидимым мыльцем.

Словно раненый морж дышит в кухне своей Фрекен Бок,
Зачерствели на блюде волшебные плюшки с корицей.

И в стокгольмские окна веселый стрекочущий бог
Своей пухленькой ручкой уже не стучится.

Всё же в какой-то момент мы поручили Федоту изгото-

вить серию картин по сделанным нами эскизам. Федот рьяно взялся за дело: он заказал подрамники, натянул холсты. Затем начал грунтовать. Шесть комнат наполнились белыми прямоугольниками свежих натянутых холстов, но они все так и остались девственно-чистыми. Ни одного изображения не возникло на этих холстах. Федота постоянно не устраивало качество холстов: он снимал их с подрамников, заново натягивал, заново грунтовал... При этом он изобретал какие-то новые, прежде неизведанные методы натяжки и грунтовки холста. Единственная картина, которая всё же родилась в этих ветхих и гнилых комнатах, была сделана мной. Взяв один из натянутых холстов (это был холст, забракованный Федотом по каким-то причинам), я нарисовал в центре белого холста силуэт птички, сидящей на ветке, и написал слово КОНЕЦ. Это я готовился таким образом к изготовлению картин для инсталляции «Обложки и концовки». В результате всё было сделано уже на месте, в Дюссельдорфе, а картина КОНЕЦ так и осталась одиноким произведением МГ в анфиладах тринадцатой квартиры. В последние дни Фурманного, когда уже всё величественно распадалось, как в «Падении дома Ашеро́в» Эдгара По, мы пришли туда с Зайделем, чтобы найти и забрать какие-то нужные нам вещи. Света не было. Прорвало трубы, и все комнаты до колен затопило водой. Дойдя до кухни, в свете фонарика я увидел плавающий в центре беспросветного пространства белый прямоугольник с черной птичкой и словом КОНЕЦ. Эта жалкая,

но величественная картинка стала завершающей виньеткой, концовкой всего периода Фурманного. Выглядело это предельно кинематографично: кружок электрического света высвечивает слово КОНЕЦ сквозь воду...

Действительно, вскоре пришел конец Фурманному, да и многое другое вскоре обрело свой конец. Но снились мне не затопленные комнаты тринадцатой квартиры – снилась мне Венеция. Нас ожидала встреча с Италией. Новый год (1990) был встречен под знаком ламбады. Тогда докатилась до Москвы мода на этот веселый и порнографичный танец. Я стал фанатом ламбады. Везде мы выстраивались в паровозики и виляли жопами, превращаясь в возбужденную многоножку. Попки девушек были гладкими и загорелыми, маленькими и плотными, как мячики, как и требовал танец. В бешеном эротическом веселье встретили мы наступление 90-х годов. Как встретишь десятилетие, так его и проведешь (так говорит одно вздорное суеверие). Но в данном случае так оно и случилось. Через несколько дней после наступления Нового года я вылетел в Италию.

Глава восьмая

Италия

Эта страна всегда воздействовала на меня сильнее и глубже, чем я склонен был предполагать. Я, конечно, знал, что Италия прекрасна, но я никак не ожидал, что из глаз моих брызнет свет, что душа моя упадет на колени, что лицо обожжется слезами опьяняющей радости при встрече с этой страной, на которую я не возлагал особых надежд (во всяком случае, не возлагал, находясь в дневном, бодрствующем состоянии: сны вещь особая). Но так случилось. Эйфорический приход от попадания в Италию был могучим, почти сногшибательным.

Но первый мой визит в страну, которую мне предстояло страстно полюбить, оказался полон противоречивыми ощущениями.

Мы, небольшая группа художников, прилетели в Рим и сразу же отправились во Флоренцию. Причиной нашего прибытия была выставка, которая должна была состояться в Музее современного искусства города Прато – небольшого средневекового города в окрестностях Флоренции. Белые скалы Тосканы... Нас поселили на вилле Ручеллаи на одном из холмов близ Прато. Ручеллаи – семья, к которой принадлежала мать Микеланджело.

Но... прерву ненадолго свой рассказ. Прерву, чтобы задать себе несколько вопросов.

Что я делаю? Зачем я это делаю? Чего от меня ожидают? Чего я сам хочу?

Ответить на первый вопрос вроде бы несложно. Я вроде бы решил написать некий прозаический текст, даже, можно сказать, роман, о своей жизни, то есть некий мемуарный, воспоминательный, отчасти автобиографический текст. Или даже, можно сказать, не просто текст, а некое умышленное сочинение или литературное произведение автобиографического характера. Так, с этим ясно. Имеется гигантская литературная традиция такого рода сочинений, и отчего бы не написать что-либо в этом жанре? Для чего это делать? Самый простой и приятный вариант ответа: ради собственного удовольствия. Действительно, до этого момента я писал с наслаждением: мне нравилось вспоминать, а также нравилось пробовать свои силы в этом литературном жанре (воспоминания, автобиография), с которым прежде я никогда себя не отождествлял. Раньше я писал либо дискурсивные тексты (критические, философские), либо художественную прозу, и в последнем случае это всегда был fiction, да еще подчеркнутый тремя жирными линиями. *Superfiction*, я бы сказал.

Итак, до сего момента я наслаждался новым для меня жанром, наслаждался волшебными свойствами воспомина-

ний, и вдруг, когда я дошел до моего прибытия в Италию

зимой 90-го года, наслаждение резко меня покинуло. Оно покинуло меня в тот момент, когда я написал слово «Ручеллаи». С чего бы это? Ведь звучание этого имени всегда казалось мне прекрасным, обворожительно-ручейным, напоминающим тихий и гипнотический плеск фонтана в ночи, когда жаркое февральское солнце уже ушло с холмов, окружающих Прато, и зимняя свежесть осторожно крадется между черными, как вакса, или же изумрудными пиниями. Да, все эти красоты... Как же я люблю вас, красоты! По мне так любая глупая туристическая фотка ценнее, нежели целый музей современного искусства! Много раз я с упоением рассказывал друзьям о своем первом прибытии в Италию, стараясь как можно чаще произносить певучее слово «Ручеллаи», которое ласкало мою гортань.

Действительно, вилла Ручеллаи поразила меня своим волшебным плеском, своим иномирным блаженством. Когда мы прибыли туда под покровом ночи, меня охолонуло мистическим обещанием праздника, которому на этой вилле не суждено было состояться.

По дороге к вилле нашу машину, ползущую со стороны Флоренции, атаковали карабинеры: мы слишком неистово орали в пути советские песни, взбудораженные воздухом той ночи и пузырьчатым красным вином. Я уже упоминал, что юмористическая физиономия Кости Звездочетова действовала возбуждающе на копов всех стран. Во дворике виллы и правда лепетал фонтан во тьме и пухлые белоснежные водо-

плавающие птицы охапками попадались нам под ноги, издавая ворчливые и недоумевающие крики и гоготы.

Написал «крики и гоготы» и сразу ощутил, что как-то полегчало, повествование высунуло из своих дебрей какую-то более или менее приятную мордочку и, кажется, пресловутое «удовольствие от текста», о котором так аппетитно писал Ролан Барт, стало фрагментами возвращаться ко мне.

Но отчего же это удовольствие (или, лучше сказать, наслаждение) вздумало меня покинуть при написании магического слова «Ручеллаи»?

Наверное, оттого, что в этом слове, в этой вилле, в этом фрагменте жизни слишком туго сплелись ощущения, обладающие противоположным вектором: здесь, как сказали бы в восемнадцатом веке, совместились несовместное. С одной стороны, очарование этого полуострова-сапожка (еще раз скажу: более сильное, чем я ожидал), с другой стороны, труднопереносимая тоска от расставания с возлюбленной. Я был влюблен, как кошка. Часто слышал это выражение, и оно меня всегда смущало: разве кошки влюбляются? Уж лучше сказать «как собака». Это было первое вынужденное расставание с Элли с того момента, когда я душевно и телесно объединился с ней в июне 1989 года. И я с трудом переносил эту разлуку. Спасали меня только реки вина и реки советских песен: первые реки вливались в мой рот, вторые изливались из него. Но о пении советских песен речь впереди.

Каждый день я звонил Элли в Москву из музейного офи-

са, чтобы узнать, как продвигаются дела с оформлением ее паспорта, с оформлением визы. Я страстно хотел, чтобы она приехала в Италию, чтобы мы оказались здесь вместе, но это было не такое уж простое дело, и оно шло затрудненно, с за-кавыками, и не было ясно, когда эти усилия достигнут успе-ха и достигнут ли.

Каждое утро я просыпался в своей комнате на втором этаже виллы Ручеллаи и подходил к окну. Внизу, освещен-ный солнцем, исчерченный зимними тенями, лежал внут-ренний дворик, точнее, небольшой сад. Иногда тонкий снег или осторожный иней блестел на зеленой траве окрест ма-ленького бронзового фонтана, но уже через час здесь вы не нашли бы ни единого светло-небесного кристалла, потому что зима выдалась теплой в Тоскане в тот год. Помимо фон-тана, сквозь сад пробирался (чтобы еще раз подчеркнуть имя рода, которому принадлежала вилла) узкий каскадный ру-чей, вода в котором была такой же чистой и холодной, такой же шепчущей, как в фонтане, словно бы и фонтан, и ручей были двумя окнами, выходящими в единое небо. Мой по-хмельный взгляд, истерзанный одиноким сном (от которого я уже успел отвыкнуть за семь месяцев), окунался в эти хо-лодные потоки с немислимой жаждой, с нетерпеливым во-жделением, и мне казалось, блаженство этого сада сможет восполнить и исцелить боль разлуки, боль неудовлетворен-ного желания.

Алиса в Стране Чудес вожелела к саду, который откры-

вался за дверью слишком укромной, настолько небольшой, что размер этой дверцы лишь слегка превосходил размер ее вождедеющего ока. Так и я не мог удовлетворить свою похоть.

Каждое утро я хотел выйти в этот внутренний сад, застыть среди его свежести хотя бы на пять минут, а лучше провести там час, устроившись на зимнем солнцепеке с книгой о Японии: я понял, я понял, я понял, я понял отчего-то в миг расставания с Москвой, что именно эту книгу следует взять с собой в Италию. А еще лучше провести в этом саду целый день, встретить там расплавленный бронзовый закат, а после – изумрудную ночь, наполненную звуками водоплавающих.

Но ни разу за все дни, что я ночевал на вилле, мне не удалось спуститься в этот сад. Ни разу ноги мои не ступили на его заветную территорию, я видел сад лишь из окна – и не более того. Каждое утро, стоило мне помыслить об одиноком вторжении в этот сад, сразу же раздраженный и похмельный Лейдерман входил в мою комнату или же входили другие люди, и все они говорили мне одно: за нами прибыл минибас, который должен отвезти нас в музей имени Луиджи Печчи. Не знаю, кто такой был Луиджи Печчи, но в музее его имени кипела работа: там готовилась наша выставка. И, надо сказать, отличнейшая и даже прекраснейшая получилась выставка.

За нами прибыл минибас,

И он в музей отвозит нас.

Выставку курировала рыжеволосая и веснушчатая Клаудиа Йоллес из Цюриха, а родом из Берна (кантон Берн-Оберланд, Швейцария), дочь Пауля и Эрны Йоллес – с этими в высшей степени замечательными людьми я познакомился еще в детстве, с ними дружил мой папа, и мне вскорости тоже предстояло подружиться с ними, более того, семье Йоллес предстояло сыграть важную роль в моей судьбе: их умные лица, покрытые веснушками, цветущие как бы наполовину застенчивыми, а наполовину шаловливыми улыбками, станут неотъемлемым украшением моих воспоминаний. А познакомил нас с этой семьей наш невероятный и великолепный друг Альфред Хол, и случилось это еще в конце 70-х, в святом подвале на Маросейке, в ту пору, когда Альфред, хронический алкоголик и блестящий дипломат, еще служил послом Швейцарии в СССР.

Выставка эта и до сих пор может считаться своего рода эталоном, во всяком случае, было в ней что-то обворожительно просторное и размашистое, веяло даже неким ароматом лугов в этих огромных залах (как и за стенами музея), причем каждая творческая единица (будь то одинокий творец или художественная группа) занимала по внушительному залу. Сначала шел зал Булатова: зеркальные слова, фирменное небо... Всё на высшем уровне. Затем зал Вадика Захарова, где на сероватых полотнах Человек-Слон и Одно-

глазый исповедовались зрителям в своем отвращении к себе. Затем шел роскошный зал Волкова, где громоздилась инсталляция в виде гигантского количества стеклянных банок, набитых всяческими однородными объектами. Запомнилась банка с чертями каслинского литья: есть такие устоявшиеся сувениры в виде чугунных чертей. Мы тогда еще не знали, что этот чудесный музей, да и весь этот восхитительный городок Прато тоже представляют собой банку с каслинскими чертями. Точнее, не с каслинскими, а с местными, тосканскими.

Не знали, да и плевать нам было тогда на это. Нам в голову не могло прийти, что нам придется с дикими приключениями выпутываться из цепких и опасных лап этих тосканских чертей. Пришлось... Но до этих головокружительно авантюрных и диких ситуаций нам еще предстоит добраться в нашем рассказе. А пока что дела обстояли цивилизованнейше...

За волковским залом следовал самый огромный и самый сакральный зал – зал Кабакова, целиком занятый действительно совершенно гениальным и стержневым произведением – инсталляцией «Золотая подземная река». Собственно, это было единственное подлинно гениальное произведение на выставке, остальные были просто очень хорошими. Два ряда пюпитров вдоль всего зала, стены которого окрашены были в темный мистический цвет. Между пюпитрами – натянутая золотая металлическая леска. На пюпитрах – весь-

ма необычные рисунки, наклеенные на листы серой бумаги. Искренне обожаю такие центростремительные вещи. Вообще-то в мире современного искусства человек с моими пристрастиями редко может удовлетворить свою потребность в эйфории. Но такие произведения, как «Золотая подземная река», способны оказать неоценимую услугу. Произведение вроде бы молчаливое, но по сути совершенно музыкальное. Эта инсталляция сообщала и всей выставке в целом характер симфонии, где все диссонансы введены в состояние общего музыкального порядка. Вся выставка, короче говоря, оказалась нанизана на эту тонкую золотую леску, как шашлык на шампур или как ожерелье на общую нить. Благодаря Кабакову здесь запахло чем-то вроде экспозиционного шедевра.

Далее следовал наш зал – зал «Медгерменевтики», которым мы с Лейдерманом очень гордились (Сережа Ануфриев в Прато не приехал). Патологически сакральное пространство, состоящее из нескольких мини-инсталляций. Одна из этих инсталляций называлась «Утепление Пустотного Кано́на» и представляла собой книжный шкаф, где книги стояли не вплотную, но с промежутками (как в объекте «Книга за книгой»), а промежутки были забиты белой ватой, визуальной напоминающей снег. Перед шкафом стоял стол, на котором лежал диктофон, а вокруг стола располагались три стула, на них восседали (или, лучше сказать, возлежали) три колобка, то есть три больших белых шара.

На шарах я нарисовал спящие эмбрионально-нирваниче-

ские лица (с закрытыми глазами). Это был пренатальный автопортрет старших инспекторов МГ. Если эта инсталляция посвящалась согреванию (утеплению) дискурса, то другая, напротив, уделяла внимание заморозке. Это был приоткрытый холодильник, в котором лежали папки с текстами МГ. За спиной холодильника зритель мог лицезреть «геополитическое» (три слоя кавычек!) полотно Лейдермана, на котором было четко написано: «Сразу после завоевания Гренландия была поделена на точечные поля для плясок». Над текстом нарисована карта Гренландии, причем территория этой страны поделена на множество секторов, помеченных загадочными точками (точечные поля для плясок).

В меру своей геополитической развращенности (или извращенности) тот или иной зритель мог воспринять это как предупреждение против будущей колонизации России Западом (или Китаем). Или можно было вообразить, что это, напротив, реклама такой колонизации. С нашей точки зрения, эти возможные интерпретации были болезненно-горячими и подобные понимания следовало замораживать в специальных «дискурсивных холодильниках МГ». Впрочем, экспозиционные надобности (то есть, иначе говоря, логика эксгибиционизма) заставляли держать холодильник открытым, что подтачивало перспективы замерзания. Вместо того чтобы замораживаться, тексты МГ в открытом холодильнике (символ дегерметизации нашего прежде закрытого концептуального круга), наоборот, размораживаются, текут. Размораживает-

ся и Гренландия, разогретая буйством загадочных плясок.

Все художественные или литературные произведения, работающие с галлюцинаторным или сновиденческим материалом, имеют тенденцию со временем прочитываться как пророческие.

Вскоре после описываемых событий активизировалась тема экологического неблагополучия, стали говорить о катастрофическом потеплении, о таянии арктических льдов. Россия действительно пережила нечто вроде колонизации (и пляски сыграли в этом свою роль); что же касается Гренландии, то она, напротив, освободилась от колониальной власти Дании и сделалась независимым государством.

Еще одна наша инсталляция (придуманная и изготовленная Лейдерманом) называлась «Тихая жалость (просят к столу)».

Стол, на нем стул кверху ножками, на ножках стула укреплены черные ленточки-флажки. Эти ленточки-флажки трепещут под влиянием вентилятора, который работает напротив стула. Рациональное прочтение данной работы затруднено, однако налицо общее траурно-ветреное состояние, нечто от погребального ритуала на ветру, а общий закат советского мира заставлял ощущать такого рода конstellации как некий прощальный жест в сторону уходящих миров, жест в духе японского настроения югэн (светлая печаль, тихая жалость).

Ну и еще две «витринные» инсталляции, мною придуман-

ные и изготовленные: «На книгах» и «На игрушках». Работа «На книгах» экспонировалась уже на «Дорогом искусстве» и была напечатана в русском (и интернациональном) издании журнала Flash Art.

«На игрушках» – сделана специально для выставки в Праго.

В этих витринных мини-инсталляциях речь идет о поисках некоего особого способа экспонирования рисунков с целью наивного указания на то обстоятельство, что каждая почеркушка обладает своим дискурсивным фундаментом. В общем-то, это и так ежу понятно, так что эта попытка раздувания значимости рисунков-почеркушек должна была, по идее, выглядеть несколько жалкой и трогательной (опять же, состояние югэн, тихая жалость, уже упомянутая).

В работе «На книгах» рисунки (причем не только мои, но и некие анонимные иллюстрации с изображением кошечек) были разложены на разноцветных фотоальбомах – эти фотоальбомы сногсшибательной красоты я покупал в магазине «Канцтовары» на Речном вокзале. Этот магазин, располагавшийся в одном из кирпичных мавзолеев, порожденных разнузданной фантазией архитектора Мандельштама, являлся одним из храмов моего детства. Я обожал этот магазин-мавзолей и, бывало, не в силах был прожить и пяти дней, чтобы в него не наведаться. Сколько там было сокровищ!

Вот стихи моего приятеля Андрея Соболева, которые так и называются: «Канцтовары».

Мама, какие здесь папки!
Перья какие – смотри!
Синие в клетку тетрадки
Новенькие буквари.

Мама, давай в Канцтоварах
Будем до смерти мы жить.
Будем ходить в шароварах
Чай из чернильницы пить!

Прекрасное стихотворение! И глубокое, между прочим! Чего стоит одна лишь первая строка с ее двусмысленностью, которая осчастливила бы доктора Фрейда! «Мама, какие здесь папки!» Или, иначе говоря: «Мама, какие здесь папы!» Мне нравится также концовка, где агрегаты текстообразования (вполне в духе Малларме) завладевают повседневностью.

В магазине «Канцтовары» я обожал всё, но предметом моих особенных желаний был набор «Слава русского оружия» – это был набор из весьма небрежно изготовленных пластиковых солдатиков, лежащих в прозрачных выпуклых пластиковых саркофагах.

Имелось в виду, что это как бы история русского воинства, но каждая фигурка крайне редуцирована, крайне схематична: вначале два богатыря с круглыми щитами в условных кольчугах, затем стрелец в коричневом халате, затем ка-

зак, гусар, улан и драгун времен наполеоновского вторжения, а после – сразу же красноармеец в буденовке, а после – просто советский солдатик в каске со звездочкой. Меня сильнее всего гипнотизировали их лица: розовые пятна без черт, безликие и нежные облики всемирного воинства, более эмбрионально-нирванические, более нерожденные, чем даже самые просветленные колобки.

Эти солдатики (в отличие от традиционных оловянных или стальных, которые у меня тоже имелись в избытке) были такими хрупкими, столь скверно изготовленными, что у них постоянно сами собой отваливались головы, пики, шлемы, щиты...

Обезглавленные (точнее, обезглавившиеся) не выбывали из игры: они продолжали нести свою службу, и некоторые микроскопические воеводы даже находили особое удовольствие в том, чтобы выставлять безголовых часовых на подступах к своим паркетным дворцам. Когда теснили меня гибкие итальянские мафиози, тогда я мысленно призывал на помощь славу русского оружия, и хрупкие казаки Платова приходили на помощь вкупе с витязями, стрельцами, гусарами, драгунами и уланами: русское воинство атаковало врага, несмотря на то что все они были столь узкими и плоскими, что их ничего не стоило переломить пополам одним движением пальцев.



Сергей Ануфриев и ПП на границе Италии и Австрии,
1990 год

Что же касается объекта «На игрушках», то здесь фигурировали не солдатики, но животные, причем мягкие и крайне натуралистично выполненные: черно-белые кролики в натуральный размер, коты с янтарными глазами, рысята, пумята, волки... Трое из этой братии лежали в витрине, придавленные тяжелым стеклом, слегка расплющенные, но не мертвые. Эти пушистые тела служили в качестве экспозиционных подставок для неких моих рисунков, а что это были за рисунки – не рискну вспомнить.

Высокое качество итальянских мягких игрушек, изобра-

жающих животных, настолько поразило мое воображение, что я не удержался и купил целый мешок этих нежнейших существ: безмолвных, неподвижных, но по-своему живых. Этот мешок я потом подарил Элли, когда мы встретились с ней в Праге.

После зала МГ зритель попадал в зал Перцев, где висели поразительные научные таблицы, местами вспучивающиеся, словно бы их нечто распирало изнутри, или же, раздвинув свою научно-популярную плоть, эти таблицы давали в себе место непригляднейшим объектам, как, например, грязная картофелина, аккуратно вылепленная из папье-маше, или кастрюля с имитацией тухлого сала внутри, или карикатурная мордочка Гитлера, проступившая сквозь отстраненную научную схему. Я высоко ценю творчество этой гениальной супружеской пары, тем более некое общее перечное (или перченное) начало роднит меня с этой арт-группой. Мила Скрипкина и Олег Петренко принадлежали к одесским концептуалистам-панкам, которые своевременно пополнили собой ряды московской номы.

Я дружил с ними и восхищался их работами. Сейчас Олега Петренко уже нет среди живых, что делает Мила – не знаю. А тогда, после выставки в Прато, нью-йоркский галерист Рон Фельдман заинтересовался работами Перцев. Он сделал их выставку у себя в Нью-Йорке, и выставка прошла очень успешно. Казалось, это начало блестящей художественной карьеры. Почему эта карьера в конечном счете не состоялась

– не знаю. Думаю, в силу глубоко сидящего в одесситах комплекса противоречия, а также в силу того мощного иррационального начала, что царствует в одесских душах. О детские одесские души! Какая бы ни появилась схема, сквозь нее, как зеленый росток сквозь асфальт, обязательно пробьется грязная картофелина, кастрюля с тухлым салом или окабаневшая мордочка Гитлера!

И наконец, последний зал принадлежал Косте Звездочетову! Работы Кости описывать не буду – они и так всем известны. Великолепные произведения, а моей душе особенно близкие и родные, потому что советская карикатура (на которой базируется эстетика Кости) всегда была для меня чем-то вроде драгоценного фетиша.

Я потому так подробно описываю эту выставку, что, хотя за ней и последовало еще целое море других выставок, всё же выставка в Прато осталась в некотором смысле непревзойденной, идеальной.

Готовясь к вернисажу, все мы в течение дня копошились в музее, а вечером нас тащили жрать в какой-нибудь ресторан, где многие из нас напивались и орали русские и советские песни. Пение песен превратилось просто в некую Obsession.

Сняла решительно пиджак наброшенный, ты меня ждешь и у детской кровати не спишь, синие огни аэродрома, а у солдата выходной – пуговицы в ряд, в парке Чаир распускаются розы, утро красит нежным светом, где-то далеко в маленьком саду, незабудку не забудь, юная, милая, очень

красивая девушка, с чего начинается Родина, повесился сам прокурор, под снегом же, братцы, лежала она, сказал кочегар кочегару, ты сегодня мне принес не букет из белых роз, каким ты был, таким ты и остался, сидят и слушают бойцы, вы жертвою пали в борьбе роковой, налетели злые ветры, эх, яблочко, куда ты катисси, и яблочко-песню держали в зубах, эх, дубинушка, ухнем, зимой и летом свежая, путь лежит ему на Запад, течет реченька, что прозвана черной планетой, синий-синий иней, белогвардейские цепи... Эти песни гасили душевную боль.

До сих пор обожаю русско-советские песни, но пьяное и застольное их пропевание в какой-то момент дико надоело. Из игриво-экстатического «постмодернистского» поведения это нестройное хоровое пение постепенно скатилось в обычный алкотреш. Федот и нынче, как напьется, горланит «Темную ночь», да еще таким мерзопакостным голосом, что хочется руки на себя наложить, лишь бы не внимать этим гнусным звукам.

Вот Лейдерман – он песен не пел. Он был собран и постепенно становился всё более злобным. Я начал смутно осознавать, что несколько поспешил, причислив его к своим близким друзьям. Иногда его пробивало на сентиментальное ликование. Как-то раз в музейном буфете он стал лихорадочно мне говорить что-то вроде: «Это вершина жизни! Это пик! Такого больше не будет никогда!» Так перевозбудила его выставка в музее имени Луиджи Печчи. Хотелось сказать

ему на это нечто беспечное, но, как назло, сам я в тот момент был близок к тому, чтобы решить, что Тоскана и тоска происходят от одного корня.

Моей девушке не давали итальянскую визу в Москве, и меня это очень подавляло. Надутый музей Печчи не желал пальцем пошевелить, чтобы мне помочь. Я уже тихо ненавидел этот музей. Мне казалась абсолютно идиотской мысль, что эта выставка – пик нашей жизни.

Перед вернисажем нам сказали, что по залам пройдет некая группа важнейших людей. Отцы города, что ли? Хуй знает. Все должны были стоять в своих залах возле своих работ, будто припаянные. Мы с Лейдерманом выглядели как два парня из экстремистской синагоги: черная одежда, черные бороды, злые загорелые рожи.

По залам, колыхаясь элегантными костюмами, к нам приближалась группа холеных особей мужского пола. Физиономии такого рода были хорошо знакомы советскому человеку того времени благодаря популярному сериалу «Спрут». А также благодаря другим шедеврам итальянского кинематографа, посвященным деятельности мафии. Действительно, как будто небольшой спрут, состоящий из нескольких человек, непринужденно полз по направлению к нам, излучая нечто вальяжное и в то же время нечто душное. Даже каким-то тухлячком слегка повеяло от этих господ.

Они вполне любезно пожали нам руки, выразили удовлетворение достигнутыми художественными результатами и

проследовали дальше. В тот миг я поклялся себе, что более никогда в жизни не окажусь в такой ситуации. Более никогда я не буду стоять возле своих artworks, приветливо улыбаясь гостеприимным хозяевам такого рода.

Выполнил ли я свою клятву? Я забыл об этой клятве молниеносно, как забывал всегда обо всех своих клятвах. Я – существо непоследовательное и беспринципное, забывчивое и рассеянное, полностью зависящее от настроений и самочувствий.

В последующие дни я ближе познакомился с некоторыми людьми из этой группы «важнейших», и они даже показались мне отчасти обаятельными. В любом случае они были весьма кинематографичны. После открытия выставки они стали нас усиленно развлекать и оттопыривать, кормить и поить, воспоследовала гирлянда вечеринок в тосканских палаццо (в некоторых залах ноздри щекотала нетронутая пыль восемнадцатого века).

Местность эта только на первый взгляд аграрная, на самом деле эти края живут текстильной промышленностью. Нас даже водили на фабрику тканей.

Приглашали и в усадьбу семейства Гори – местные магнаты. К нам тут же подклеился некто Пьеро Карини, галерейщик из Флоренции: мол, такие классные ребята, *artisti russi*, *concettualismo*, давайте делать *La mostra*. Монстрами они оказались порядочными – Пьеро и его приятель Вольдемаро.

Рожи уголовные, гладкие. Глаза сверкают. Всё дико дру-
жественно. Они даже пели с нами советские и итальянские
песни, а петь они умели получше нашего! Шлифованные
ребята, тертые. Музыкальные. Отчасти даже сентименталь-
ные. Но, если надо, горло перегрызут голыми зубами. Коро-
че, Италия. Местная специфика. Нашим временам еще по-
везло: какие-нибудь Медичи были бандитами пожестче да
покруче, нежели Карини с Вольдемаро.

Не стану врать, что художественная карьера «Медгерме-
невтики» или моя собственная очень сильно меня занимала
в то время. Я не верил, что все эти хэнки-пэнки продлятся
долго (ошибся, как видно: хэнки-пэнки длятся по сей день).
Я-то думал: всё это схлынет, как с вешних вишен дым, и я
буду спокойно делать иллюстрации для советских книг, па-
раллельно изготавливая потайные артефакты в каком-нибудь
подвале на Маросейке. Поэтому я хуй толкал на тему арт-
карьеры, но сливать всё это в унитаз тоже не спешил – коро-
че, тек по течению, украдкой срывая яблоки незнания с тех
витых ветвей, которые сами тянулись ко мне с девичьей до-
верчивостью.

Короче, случился в тот период ряд событий, которые пол-
ностью затмили собой всё то, что я только что описал. Музей
имени Луиджи Печчи вспыхнул и сгорел в невидимой духо-
вой печке, будто легкий шлак – и всё под влиянием упомя-
нутых переживаний.

Эти переживания можно, конечно, отнести к разряду туристических эффектов, но я бы воздержался в данном случае от подобных определений.

В ряду этих инсайтов следует прежде всего назвать посещение Венеции, а также то поразительное впечатление, которое оказал на меня визит в галерею Уффици во Флоренции, особенно созерцание двух картин Боттичелли – «Рождение Венеры» и «Весна». Эти два переживания оказались столь сильны и возымели на меня такое могучее воздействие, что в деле их описания я передаю слово самому себе, но уже в качестве автора второго тома романа «Мифогенная любовь каст», поскольку оба события были в этом втором томе отображены.

Зачем еще раз описывать то, что уже было описано, причем со всей возможной трепетностью? Начнем с Флоренции (привет вам, Медичи! Есть нечто медное и медицинское в имени вашего вельможного рода). Здесь я превращаюсь в молодого фашиста, становлюсь влюбленным агентом. Выше я писал, что трансформировал старого Юргена Хартена в молодого Юргена фон Кранаха. Но, естественно, в еще большей степени, я превратил в фон Кранаха самого себя (и здесь не следует забывать, что живописец Кранах любил изображать своих дам и дев на фоне непроглядной тьмы).

Он пришел сюда, чтобы увидеть Картину, одну-единственную, мысль о которой не покидала его с того дня в Ви-

тебске, когда Коконнов ввел ему в вену сверкающую иглу. Он хотел видеть новорожденное и прекрасное лицо и золотые волосы, на которые, как на горячий чай, дуют ангелы ветров. Он хотел еще раз услышать Подсказку, доносящуюся из Суфлерской Будки, что в форме морской раковины. Там, в этой ракушке, Подсказка живет и зреет, как жемчуг, чтобы в нужное мгновение перекатиться в подобную же раковину – в раковину внимающего уха.

Он жаждал Подсказки. Он чувствовал, что нуждается в ней. Хотя дела и шли неплохо, неплохо. Но дело не в делах. Не в делах было дело.

Он хотел видеть «Рождение Венеры» Боттичелли.

И вот он стоял перед ней в квадратном, не очень большом зале. Он так боялся разочарования, так боялся подмены... Ведь тогда действовал наркотик, а теперь перед ним была картина. Всего лишь картина. Но разочарования не возникло. Он понял, что Ее нельзя подменить. Она сама распоряжается своими подобиями, играет ими, смеется над ними, проходит сквозь них... Не в упоении силой, не подобно танцующему Шиве, разбрасывающему вокруг себя ошметки не вполне уничтоженных миров. А рассеянно, с отстраненностью ребенка, погруженного в холодную и теплую пустоту своих грез.

И снова он испытал то чувство, как тогда, в Витебске, как будто нечто ценное и полное до краев несет он и боится расплескать, что-то очень разумное, может быть, сам Разум...

«Любовь – это и есть Разум», – подумал фон Крапах.

Она была не одна. На соседней стене висела другая картина Боттичелли – «Весна». И эта картина потрясла впечатлительного фон Крапах не менее, чем «Рождение Венеры». Более того, эти две картины распались и слились, вошли друг в друга, образовали единое целое. Распад в единство.

«Обнаженные тела хороши на фоне моря и садов». Сады, расцветающие сады бесконечной весны повисли над морем, и море охотно несло сквозь эти сады свои соленые святые волны, свои разбитые пенные канделябры, свои разбитные кибитки, свои кричащие от счастья хвосты и водяные крылья, свои щедро набитые свежестью языки, свое сладострастие, свое соленострастие. Золотые брызги в траве и в цветах, и легкие, изогнутые ступни девушек, несущих в подолах цветы, и снова украшения волн, и снова золотые капли, словно в этом раю только что взорвалась колба с эликсиром бессмертия, щедро разбросав по цветам, по лицам ветров множество сверкающих брызг...

То, зачем он пришел сюда, он получил. Получил сполна, и дано ему было щедро, как наливают горячий черничный кисель излюбленным детям. Можно было уходить. Но до назначенного свидания (которое должно было состояться в ресторанчике неподалеку) оставалось еще некоторое время. Он стал бродить по залам, уже без определенной цели, постепенно удаляясь от тех пространств, где обитали знаменитые

шедевры. Он прошел коридор, увешанный гобеленами, затем вышел в мраморную галерею с бюстами и расписными потолками (тускло-зелеными, изображающими пасмурное, зацветающее, как болотце, небо), затем миновал коридор, где стояли доспехи, шлемы и железные сапоги в стеклянных шкафах, попал в совершенно пустой коридор и в конце этого коридора увидел висящую в простенке довольно странную картину, которая заставила его остановиться.

Перед ним висело изображение, написанное на мотив знаменитой «Леды» Леонардо да Винчи, причем написанное, вне всякого сомнения, немецкой кистью. Узкая бронзовая табличка на раме подтверждала: Леда. Неизвестный мастер. Германия, конец XV века.



Капитан Джонс. 2007

Собственно, сама Леда – ее тело и в особенности лицо – были просто скопированы с картины Леонардо. Лицо ее казалось совершенно леонардовским: подернутая туманцем полупотусторонняя полуулыбка, словно бы рябь на поверхности бездонного и тайного оргазма, длящегося века. Опущенные dolu глаза. Невинность. Сладострастие. Вечность. И, конечно же, та мягкость, та степень мягкости, которая может показаться даже преступлением, но которая преступлением не является, потому что ей нечего преступить.

Но в теле Леды уже присутствовало некое отвердение, напомнившее Краныху о картинах его знаменитого однофамильца, этого Большого Отчима, как Юрген иногда в шутку называл его. Здесь, с этой скрытой надломленности, с этих суховатых и четких искажений уже начиналась Германия, пока что еще незаметно, стыдливо... Зато эта дикая, черная Германия безраздельно царствовала на всем остальном пространстве картины, не занятом обнаженным телом Леды. «Обнаженные тела хороши на фоне моря и садов». Леда стояла на фоне леса, дремучего германского леса, сотканного из плотно сомкнувшихся колючих елей, прописанных с непристойной отчетливостью, присущей живописи Альтдорфера, или же Ханса Бальдунга Грина, или же Большого Отчима. Цвет этого леса был темно-зеленый, сочный, откровенный, переходящий в угрожающую синеву. Небо тоже показывало себя хмурым, чреватым то ли крошечной ночью, то ли грозой. Но самой вопиющей деталью картины следовало при-

знать лебеда. Он корчился у ног Леды, словно охваченный судорогой. Собственно, это был не лебедь, а монстр: маленький, скользкий дракон. Зеленый цвет леса переползал на его скомканное тело, становясь на перьях ядовито-влажным, а сами перья больше походили на чешую. Голая извивающаяся шея напоминала об алхимических колбах. Красный, неприлично мокрый клюв, обрамленный чем-то вроде растрепанной бородки, приоткрывался даже не столько в плотоядной, сколько в маразматической истоме, обнажая странные старинные зубки.

Стоящая Леда взирала сверху на монструозность этого «лебеда» снисходительно. В ее улыбке сквозило загадочное поощрение. Она позволяла. Трудно было представить себе, кто может родиться от грядущего соития этих двух существ, равноудаленных от человеческого мира.

До вечера гулял по городу. Взобрался на холм, прошел рощу пиний и увидел ворота – два столба, увенчанные статуэтками собак. За воротами простиралось зеленое поле. Он вошел, но тут появились настоящие собаки – они бежали к нему издали, от дома с плоской крышей, виднеющегося среди пиний. Кранах вспомнил, что, если собаки молчат, значит, они свирепы, и поспешно вышел за ворота. Вернувшись в город уже в сумерках, он посетил антикварную лавку и наконец купил себе телескоп.

Всякий, кто просыпался утром в Италии, знает ощущение

не вполне понятного счастья, которое сопутствует этим пробуждениям. Кранах поднялся, быстро собрал свой саквояж (ставший значительно тяжелее, после того как туда был уложен телескоп в медном футляре), расплатился за пребывание в отеле и вышел на улицу. Пахло цветами, хотя стояла зима. Он хотел было идти прямо на вокзал, но вдруг свернул в сторону галереи Уффици. Ему захотелось еще раз взглянуть в лицо Новорожденной.

Она оказалась светлее и проще, чем вчера. Золотые искры в траве стали незаметны, и Кранаху пришлось специально искать ракурс, с которого они были бы видны. Потом он отправился к «Леде». Он не сразу нашел ее, слегка заблудился, попал в круглый красный зал, похожий на внутреннее пространство циркового барабана, где висели крошечные портреты вельмож. Наконец он увидел знакомый зал с доспехами, быстро прошел его и вошел в пустой и светлый коридор. В конце коридора, перед картиной, сидела девушка и делала копию. Кранах тихо подошел и заглянул через плечо. Рисунок, сделанный углем, казался беспомощен. Притоптыванием мягкой синей резинки она пыталась воспроизвести леонардовское сфумато – туманную штору, которой задернуто улыбающееся личико Леды. Кранах запомнил навсегда луч бледного зимнего света, падающий сбоку на рыжие волосы рисующей, ее бледное маленькое ухо и узкие пальцы, испачканные углем. На каменном полу лежали перчатки и твердая белая шляпа.

– Вы скопировали только ту часть картины, которая уже является копией, – сказал Кранах, тщательно подбирая итальянские слова. – Более оригинальную часть этой картины – лес и лебедя – вы оставили без внимания. Жаль.

Она обернулась и мельком взглянула на его опаленное горным солнцем лицо со светлыми пятнами вокруг глаз, оставшимися от солнечных очков, на полукруглый шрам под левым глазом.

– Вы немец? – спросила она.

– Да. Юрген фон Кранах. Простите, что не представился сразу же.

– Кранах? Потомок немецкого живописца?

– Нет. Однофамилец. Я называю его иногда, для смеха, Большим Отчимом. Он ведь был, кажется, бородатый, в шубе. Честно говоря, не люблю его. Ведь отчимов вроде бы принято не любить, если они бородатые, в шубах.

– Почему вы не на войне? – спросила она с усмешкой. Слово *la guerrea* было очаровательным в ее произношении. Она была молода, лет семнадцати, не более.

– Я был на войне, – ответил Юрген.

– И многих вы там убили? Врагов.

– Я никого не убил, – честно ответил Кранах. – Кажется, меня чуть не убили. Но я легко отделался. Пришлось немного полечиться в Швейцарии, в горах. Я только что оттуда... Спустился с гор, как говорят. Так иногда говорят. Спустился... И вот встретил вас.

– Швейцария плюс медицина! – произнесла она, снимая рисунок с планшета и укрепляя на нем новый лист. – Швейцарский флаг является, кажется, негативом, что ли, медицинского флага. Или наоборот. Даже не знаю. Швейцарский крест, медицинский крест, и между ними знак «плюс», знак сложения... тоже крест. Три креста на горе. Это Голгофа.

– Голгофа. Я немного занимался альпинизмом. – Кра-нах дотронулся концом трости до ее белой шляпы, лежащей на полу. – Правда, альпинизм больше напоминает несение креста, нежели само распятие. В основном приходится идти, идти целыми днями, волоча на плечах и за плечами снаряжение, напоминающее инструментарий средневекового заплечных дел мастера: все эти крюки, топорики, веревки, стальные зубья, штыри, клинья...

В данном прозаическом фрагменте из второго тома МЛК имеется связка или же сцепка, соединяющая флорентийские эффекты с последующими швейцарскими, в частности с важным для «Медгерменевтики» проектом «Швейцария плюс Медицина». Я передал эсэсовцу Юргену многие из своих трепетных ощущений и воспоминаний, добавлю только, что именно тогда, во Флоренции, созерцая две картины Боттичелли, я обнаружил в себе идею создания «прекрасных» или же «искусственных» идеологий – впоследствии это направление медгерменевтических усилий долго занимало наши умы. Дело это принесло золотые плоды, которые упали в

воду золотой подземной реки.

В Венецию я первый раз приехал в компании Лейдера и девушки по имени Дебора Зафман. Эта молодая еврейская девушка из Штатов пересекла океан, чтобы работать ассистентом в музее Печчи.

Но совсем другой девушке и совсем в другой период жизни я посвятил влюбленные стихи под названием «Русалочка» – стихи, наполненные ощущением Венеции:

Мы встретились в таинственном дворце
Среди гранитных ваз и обнаженных фавнов.
Ты голая сидела на ларце
В потоке снов своих непостижимо-плавных.

И эхо темных зал твой повторяло смех,
Как плеск ручья среди гор темно-зеленых,
Вельможи кутались в свой хищнический мех
И исчезали в мраморных колоннах.

Во тьме дворца волною шли песцы
И гибкие теснились леопарды...
Зачем нужны Венеции дворцы?
Чтоб утром распушить в них бакенбарды!

Ты увела меня оттуда сквозь сады
По тропам каменным меж статуй и фонтанов,
Где на обломки розовой слюды

Склонялись головы в просоленных тюрбанах.

Мы вышли к морю. На большой террасе
Отеля ветхого я сбросил свой покров, —
Свой карнавальный хлам оставил на матрасе.
Где бомж, должно быть, жил или цвела любовь.

И мы вошли в холодный мир воды
Мы пели в ней, ныряли и играли.
Нам чайки дикие кричали с высоты
О том, чтоб мы дворец не забывали.

Но мы забыли тяжесть древних книг,
Забыли глобусы в старинных кабинетах,
И мы забыли тот ленивый миг,
Когда в деревню тихо входит лето.

Оно стоит одно у магазина,
Где трактористы пьют зеленый алкоголь.
Оно как девочка. И звать, наверно, Зина.
Зачем, Зинок, спустилась ты в Юдоль?

Зачем ты лаской голову закружишь?
Зачем ты негой сердце обовьешь?
Зачем девчат с парнями ты подружишь?
Зачем на отмели реки потом уснешь?

А мы с Русалочкой плывем, как фараоны
В ладьях по Нилу плыли – нам насрать

На то, что где-то бродят легионы
И с ратью где-то снова бьется рать.

Нам не понять извилистого мира,
И никому не сможем мы помочь.
Я помню сумрак маленького тира
И меткий выстрел. Скоро будет ночь.

Далее следует очередной фрагмент из МЛК – фрагмент, который я рекомендую вам читать сквозь опаловые слезы, если вы всерьез надумали приблизиться к изумленному ПП, стоящему на носу речного автобуса, скользящего по Canale Grande. Изумление мое было вызвано тем, что я не испытал разочарования.

Это разочарование (хотя бы легчайшее) казалось мне неизбежным, но его не случилось. Казанова, Томас Манн, Джойс и Пастернак составили свои описания этого города, но я не вспоминал об этих текстах, не вспоминал даже о фильме Висконти, где по лицу умирающего течет краска от крашенных усов, где блики танцуют на изнанках мостов и где присутствует великолепный многоязычный шелест на пляже в Лидо. Думал я о том, что уже многократно это видел, обонял, ощущал – и не только лишь в прошлых жизнях. Незадолго до первого вылета в Италию, когда я лежал в узкой маленькой комнате на Речном вокзале. Лежал на той самой кровати, на которой в детстве листал огромные тяжеловесные страницы поэмы Кольриджа «Старый моряк». На той са-

мой кровати, на которой Сережа Ануфриев однажды превратился в замороженное поленце с гигантскими глазами, наполненными космическим ужасом.

Дунаев уже не был устрицей, он стал самим собой, но в черном карнавальном костюме и в белой маске, лежащим в гондоле. Он знал, что он в Венеции и что одновременно всплывает в глаз Пуруши, плывет по одному из каналов этого глаза – то ли мертвого, то ли живого огромного ока, мутно отражающего небо.

И тогда по каналу, в гондоле, свернувшись клубочком,
Поплывем, как медовый звук скрипки в эфире плывет...

Гондольер, как водится, пел «O sole mio!» и греб большим веслом. Дунаеву было уютно и сладко, как в колыбели, дворцы проплывали над ним, участливо заглядывая в лодку своими темными окнами и мрачными балконами, на которых висели яркие, истлевающие ковры. Везде плеск воды и острый запах, свежий и гнилой одновременно, запах морского болота, который казался Дунаеву родным (ведь отчасти он остался устрицей). Было чувство, детское предвкушение, что продолжается Праздник, и этот Праздник только собирается войти в свою полную силу. Чем глубже в Венецию всплывали они, тем ближе надвигался этот Праздник, и сердце сладко замирало. Канал плавно завернулся и вроде вывернулся, как

рукав. Посветлело вокруг.

Плеск и пение гондольера – всё вплелось в какую-то общую музыку, и с ней смешались веселые отзвуки танца на одной из маленьких площадей.

Дунаев оказался в большой темно-синей комнате. Пусто. Высокие открытые двери вели в следующую, точно такую же комнату. За ней следовала еще одна такая же. И еще. Все они были заполнены водой. Дунаев плыл из комнаты в комнату, держась рукой за стены. Все комнаты стояли пустые. Глубокий синий цвет захватил его, он успокаивал душу, но присутствовала в нем и отстраненная печаль. А комнаты всё не кончались. И чем глубже уходил Дунаев в темно-синюю анфиладу, тем больше он ощущал слабость, и головокружение, и какую-то сладкую отдохновенную обморочность...

И вот он уже не шел и не плыл, а просто лежал в толще воды, и вода медленно несла его сквозь комнаты... Ему показалось, что вовсе он не маг, путешествующий по морскому дну, а просто он утопленник, чьим телом играет вода. Стало темнее вокруг. Синева сгустилась...

Синева сгустилась, и вскоре я уже летел на маленьком самолете, напоминающем старый кукурузник, летел из Флоренции в Милан вслед за крестообразной тенью самолетика, которая скользила по полям, по квадратным угольям, по рощам и старым помещичьим домам.

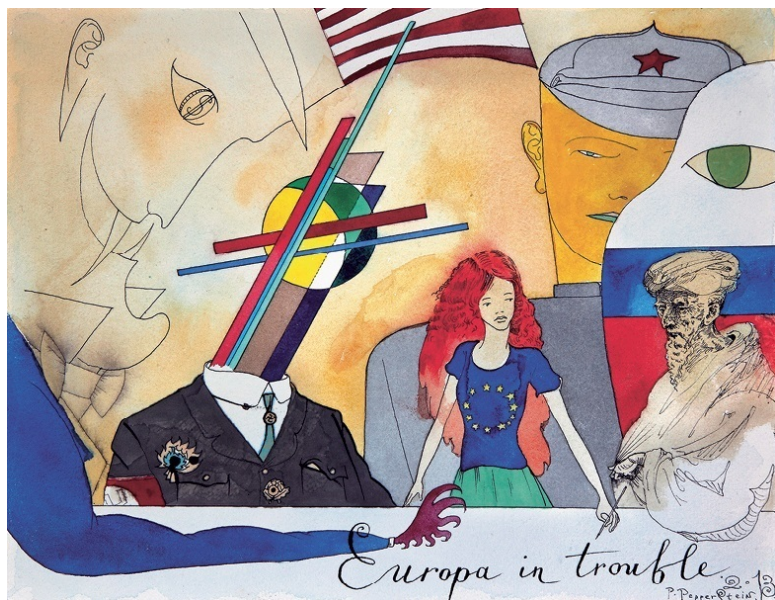
Самолетик держался низко над землей, видимость была

отличная, медвяная (то есть всё как бы застыло в итальянском меду): я был простужен, Дебора Зафман дала мне перед вылетом американскую таблетку для укрепления иммунитета. Эта таблетка странно вставляла.

В Милане должна была вскоре состояться следующая выставка с участием МГ. В аэропорту Милана меня встречал седовласый вертлявый господин, дико веселый, но с печальными глазами южанина. Скорость его жестикуляции и живость его манер вполне соответствовали представлениям об итальянской импульсивности. Но он весьма отличался от гладких и наглых ребят и господинчиков из Прато. Он был пронизан стихией абсурда вплоть до острых носков начищенных ботинок. Так я впервые встретил итальянского друга на итальянской земле.

Знакомьтесь, дорогие радиослушатели, перед вами Энрико Р. Коми! Спасибо вам, милосердные боги, за то, что вы послали мне настоящего друга в тот миг, – я всегда обожаю своих друзей, порой их много, порой мало, но я люблю их всех, я готов простить им все неприятности, лишь бы сохранялось то веселящее и уютное чувство, которое я и называю дружбой. Энрико родился на самой южной оконечности итальянского сапожка, почти на каблуке, в крестьянской и весьма небогатой семье. С ранней юности его торкнуло пронзительное понимание того факта, что он – поэт. Как случается в бедных семьях, домашние уверовали в его призвание – с трудом собрали трудовые лиры на то, чтобы юный Энрико

отъехал в Милан.



Europa in Trouble. 2013

Стопроцентный калабриец Энрико считывался моим сознанием, как родной и любимый тип человека под названием шлеймазл. Тем не менее с конца 60-х он издавал в Милане превосходный журнал Spazio Umano (Human Space), где сотрудничали лучшие европейские и американские художники того времени: Кунеллис, Кошут, Балдессари, Гилберт и Джордж и многие другие. Все они годами и десятилетия-

ми работали с этим журналом совершенно бесплатно – просто потому, что любили Энрико. Редкий пример издания, где публикуются одни лишь звезды, но при этом само издание почти никому не известно, хотя выходит в свет давно и выглядит отлично.

Мы дружим с ним и по сей день. Неистребимый и тонкий узор абсурда и чего-то непостижимого лежит на всём, что делает Энрико. А делает он много всего, поскольку обладает бурным и неукротимым темпераментом. Чем-то всё это напоминает некоторых моих одесских друзей. К моменту нашей встречи Энрико вышел на контакт с Витей Мизиано (московский кучерявый куратор итальянского происхождения) и договорился с ним вместе устроить выставку нескольких московских художников в выставочном зале в центре Милана. Зал назывался Sala Boccioni, а выставка должна была называться «A Mosca, a Mosca!» («В Москву! В Москву!») – имеются в виду восклицания чеховских девчат).

Флорентийские снобы отнеслись к этой затее крайне неодобрительно. Жирный и высокомерный директор музея в Прато израильтянин Амнон Барзель весь обфыркался, когда услышал имя Энрико Коми. «Вам надо делать серьезную карьеру. Такие связи не доведут до добра», – бухтел он. В западном арт-мирочке подобные разговоры льются повсюду, как в детских садах жидкое говнецо льется из детских жопок.

Я пропустил эти мудрые советы мимо ушей и не пожалел об этом. Энрико оказался отличным человеком: добрым,

честным и чувствительным. Он сразу понял, что меня нечто гнетет. Я рассказал ему, что обещал своей девушке показать ей Италию, а ей не дают визу в Москве. «Я всё сделаю, – сказал мне Энрико, – Скоро она будет сидеть рядом с тобой на этом диване». Он не солгал. Чиновники любили Энрико. Чем-то он умел тронуть их души.

Вскоре мы с Элли действительно восседали, прижавшись друг к другу плечами и сплетя наши пальцы, на раздолбанном и пыльном диване в квартире Энрико на виа Романьо-зи. Это была квартира в духе итальянского неореализма. На узкой и тесной кухне варила спагетти в огромной кастрюле крупная жена Энрико, великолепная Лаура, обладательница низкого хрипловатого голоса и кристально ясной души. В соседней комнате их сын Давиде, наш ровесник (о нем все знали, что он собирается стать великим кинорежиссером), смотрел видео, положив ноги на стол. Собственно, комнат было всего две, везде валялись книги, было тесно и мусорно по-московски (Милан чем-то похож на Москву, а замок Сфорца строил тот же перец, что и наш Кремль). Эта теснота не помешала Давиде вскоре привести за руку женщину с десятилетним ребенком и поселить ее вместе со всеми в этой квартире, часто наполнявшейся тем человеческим звоном, что в Одессе называют словом «геволт», в России зовут гвалтом, а как это называют в Италии – уже не помню. В этой квартире нам предстояло съесть немало спагетти и выпить немало дешевого вина. Но прежде мы встретились в Праге.

Глава девятая

Бархатная Прага

Прага, как известно, город, полный тайн и сказаний. Есть множество замечательных книг, излагающих эти пражские мифы. К ним, конечно же, относится такой знаменитый роман, как «Голем» Густава Майринка, как, впрочем, и другие его романы. Произведения Кафки тоже относятся к пражским сказкам. Безусловно, можно сказать, что Прага является местом иногда довольно мрачных сказок, но порой и просветленных. Каждый человек, который живет в Праге, становится персонажем одной или нескольких пражских сказок – я это могу сказать и о себе. Проведя в этом городе несколько лет в разные периоды своей жизни (в общей сложности лет пять), я попадал в самые разные сказочные ситуации и на каком-то микроуровне, на уровне своего фантазирования, внес свой вклад в вылепливание некоторых пражских сказок. Я не претендую на то, что порождения моего скромного бреда войдут в золотой фонд пражских преданий, но на каком-то фантомном уровне я в этом деле поучаствовал. «У матушки Праги острые когти», – сказал Франц Кафка. Я связываю с Прагой ощущение безвыходности жизни. Когда-то я шел вдоль Влтавы, был очень солнечный и светлый день, и чайки носились над речной водой. И наступило одно из таких со-

стояний, когда обостряется зрение и становится пронзительно зримой каждая прозрачная капля воды на упругих водонепроницаемых перьях этих птиц, издающих довольно резкие, гортанные то ли крики, то ли всхлипы, то ли вопли. В этот момент меня пронзило ощущение безвыходности бытия, безвыходности жизни. Я вдруг осознал, что земное существование является единственным, и никакая смерть, никакие перемещения в Трансцендентное не избавят нас всех от постоянного возвращения в этот земной мир. Нигде в других местах и городах такого рода откровения меня не посещали. Наоборот, мне, скорее, всегда было присуще ощущение множественности миров. Но именно Прага, несмотря на ее барочную вариативность, дает такое ощущение Амбера, если вспомнить эпопею Роджера Желязны «Хроники Амбера», где есть единственная подлинная реальность: она называется Амбер, или Янтарь, и она отражается во всех прочих реальностях то яркими, то тусклыми образами. То же самое можно сказать и о Праге. Безусловно, Прага – Амбер, один из Амберов. Янтарный, или же золотой, алхимический шкаф, откуда убежать невозможно. Это – одна из тайных пражских сказок, пугающая и восхитительная одновременно.

Весной 90-го года в Праге произошла первая сольная (соленая) выставка «Медгерменевтики». Это историческое событие случилось по инициативе Милены, она эту выставку задумала и курировала, ей же принадлежит первый проду-

манный иноязычный текст о нашем творчестве, написанный для пражского каталога. Каталог назывался «Мертвые дети на дороге не валяются», а сама выставка именовалась «Три ребенка» (согласно другой версии – «Три инспектора»). На обложке каталога три детские фотки старших инспекторов МГ: Сережа в виде спокойного азиатского бутуза, Юра в виде тревожного еврейского малыша с барабаном и я в виде печального еврусского малыша в матроске и морской фуражке с якорем. В Праге три старших инспектора встретились, и каждый был с девушкой. Таким образом, нас там было шестеро.

Я испытал такое дикое, необузданное счастье, увидев Элли после мучительной разлуки, что, оставшись с ней наедине, омыл ее стройное смуглое тело слезами и спермой. Нечто подобное описано в «Лолите», когда Гумберт рыдает, соединяясь со своей возлюбленной девочкой. Произошло это фонтанирование, это выплескивание телесных и душевных влаг в сухом и безжизненном пространстве, напоминающем палату больницы: комната с белыми стенами, плотно заставленная одинаковыми кроватями с хромированными металлическими изголовьями.

Так выглядели гостевые просторы Академии художеств, где нас разместили. Мы с Элли, впрочем, вскоре поселились в отдельной квартире на смиховском холме, возле телебашни. Там, на Ондржишковой улице, был большой ковер на полу, сделавшийся полем наших воссоединений. Я вручил сво-

ей девушке мешок с игрушками-животными, привезенный из Прато. Из этого мешка, как джинн из бутылки, и выпрыгнула наша пражская выставка, то есть две заловые инсталляции с перекликающимися названиями – «Одноногий ребенок» и «Широкошагающий ребенок».

Эти работы явились непосредственным продолжением объекта «На игрушках», сделанного в Прато. Игрушки на пражской выставке были, впрочем, не только из итальянского мешка. Я задействовал также мягкие игрушки Маши и Магдалены, воспользовавшись энтузиастическим разрешением моих сестричек.

В двух среднего размера зальчиках в Галерее Младых (то есть в Галерее Молодых) на Водичковой улице игрушки были разложены группами на полу и придавлены стеклами. Сверху на поверхности стекол расстился тонкий слой песка, на котором мы отпечатали след детской ступни. Моя сестра Маша как раз находилась именно в таком возрасте (около пяти лет), который казался идеальным для данного проекта, в том смысле, что ее горячая маленькая ступня производила идеальный оттиск на песке. Машенька так вдохновилась своим участием в производстве инсталляций, что сама после этого стала строить домашние ассамбляжи из игрушек, мебели и других предметов. Называла она их «фемлики». Было бы неплохо утвердить это загадочное слово в качестве замены неуклюжего и громоздкого слова «инсталляция».

Впрочем, забудем о реальных детях и обратимся к аб-

страктно-умозрительным. Игрушки под стеклами составляли как бы два маршрута, или два пути, которыми пронеслись два загадочных ребенка – Одноногий и Широкошагающий. В первом зале на песке, лежащем на стеклах, отпечатана была только левая ступня невидимого малыша. Таким образом, возникал фантазм о ребенке, ловко скачущем на одной ноге по пунктирно разложенным стеклам.



С. АНУФРИЕВ



Ю. ЛЕЙДЕРМАН



П. ПЕППЕРШТЕЙН

Во втором зале группы игрушек, накрытых стеклами, разложены были на значительном расстоянии друг от друга, таким образом возникал воображаемый ребенок с крошечной ступней, но очень длинными ногами.

Достаточно безумные две инсталляции, надо сказать. Хотя чем-то они напоминают о Людвиге Витгенштейне и его «Логико-философском трактате». Среди игрушек был даже

любимый парень Магдалены, с которым она не расставалась всё детство. Как же его звали? Морковного цвета существо, с морковным носом и морковными ногами. Кем он был? Собакой? Мишуткой? Трудно сказать. Кажется, я вот-вот смогу вспомнить его имя. Но нет... Имя морковного существа упрямо уползает от поползновений моей памяти. Надо бы позвонить в Прагу и спросить Магдалену: может быть, она помнит имя морковного существа?

Всё в жизни непрочно. Она неразлучно провела с этим существом много лет, она спала с ним, доверяла ему свои тайные мысли, она издевалась над ним, швыряла его об стену, пинала ногами с диким, захлебывающимся хохотом. Тело ее изгибалось в экстазе смеха, пока жестокий хохот не опрокидывал ее на пол. Но к 1989 году она стала пятнадцатилетним организмом и легко разрешила придавить мистера Морковного стеклом. Он был ее любимцем, а теперь стал составной частью никому не нужного, хотя и достаточно радикального произведения искусства. Так и народ: память народная не длиннее девичьей. Только что боялись коммунистов, как огня, а тут вдруг в одночасье осмелели и освободились от них.

Да, незадолго до этого произошла Бархатная революция, и вся страна всё еще пребывала в радостном остолебении. Никто не верил, что от этого гнета удастся избавиться так бархатно, так легко, так безболезненно. Счастливое было времечко. Освобождение – сладкая штучка. А такое вот Освобождение – легкое, бескровное – это не просто сладкая,

это волшебная штучка! Это – miracle!

В этом историческом контексте выставка «Медгерменевтики» произвела эффект взорвавшегося пузырька воздуха в минеральной воде. То есть, иначе говоря, эффект был близок к сверкающему нулю, что нас радостно и вполне устраивало.

Помню упоительную пресс-конференцию. Милена сказала, что мы должны хорошо подготовиться к этой пресс-конференции. Подготовка состояла в том, что мы купили много вина, а также изготовили множество вкусных бутербродов для журналистов.

В назначенный день и час мы стояли перед журналистами в пространстве выставки, поблизости громоздились бутерброды на тарелках, блестели бутылки вина. Человек во-семь журналистов мялись перед нами с отрешенными лицами. Сначала Милена произнесла емкую и весьма эрудированную речь по-чешски. Затем небольшую и красноречивую речь по-английски произнес Сережа Ануфриев. Сережа приехал из Москвы с женой Машей, и он был одет в невероятные новые штаны, сшитые Машей специально для путешествия в Прагу. Штаны были сшиты из материи, предназначенной для младенцев: нежная фланель, усеянная изображениями ярких и мелких утят по светлому фону. Сверху штаны выглядели как комбинезон с лямками, снизу превращались в клеша, щедро расширяющиеся в духе 70-х.

То ли утята на штанах, то ли подавленные стеклами мягкие игрушки, то ли еще что-то подавило волю и сознание

завившихся журналистов. Когда им было предложено задавать нам вопросы, повисло неловкое и тяжеловесное молчание. Журналисты пили вино, хмуро жевали вкусные бутерброды, но ни одного вопроса так и не прозвучало. Элегантный Сережа решил разрядить обстановку.

«Если у вас нет вопросов, то давайте я буду спрашивать вас», – предложил он. Сережа задал им несколько вопросов, вполне остроумных и смешных, но никто даже не улыбнулся. Журналисты молчали, как Иисус на допросе у Пилата. Их взгляды удрученно перебирали утят на Сережиных штанах. Возможно, они не понимали по-английски. Переглянувшись с Сережей, мы поняли, что надо нам выбегать во дворик. Мы уже кусали губы. Могучий хохот поднимался изнутри нестигаемой волной. Вволю нахохотавшись во дворике, мы вернулись в залы. Журналисты убито дожевывали бутерброды. Результатом этого блестящего вечера стала одинокая заметка в одной из пражских газет под названием «Такого мы еще не видели».

Чехословакия развалилась на Чехию и Словакию. Президентом Чехии стал друг папы и Милены – Вацлав Гавел. В честь этого превосходного человека мы с папой ходили в Люцерну пить пиво и есть карпа «по-жидовски». Любимое местечко и любимая еда Вацлава Гавела. Карп с тмином – очень вкусно. Все социалистические кайфы были еще живы. Еще работал, доживая последние свои дни, мой любимый мага-

зин советской книги на углу Водичковой улицы и Вацлавской площади. Еще действовала умопомрачительная кондитерская на втором этаже этого магазина, где мы с папой, отдавая должное нашим сладостным обычаям недавнего прошлого, восторженно отведали пирожных с двумя чашечками крепкого горького кофе. Было так хорошо в Праге в 1991 году!

Круто было гулять по Стромовке в длинном черном пальто, купленном в Италии. В шелковых карманах этого пальто лежали пачки сигарет «Спарта» и «Петра». Западное табачное изобилие еще не захлестнуло Чехию, поэтому сигаретный выбор ограничивался этими двумя марками. Я предпочитал «Спарту» в белых коробочках с древнегреческим корабликом – они были покрепче. Но иногда, для разнообразия, курил более женственную «Петру» в абстрактном коричнево-белом оформлении. Но вообще-то я любил пыхтеть тогда советскими папиросами «Казбек» или «Герцеговина Флор» (Сталин всегда потрошил эти папиросы в свою трубку). Несколько «Казбеков» привез мне в Прагу Сергунька из Москвы. Помню, мы постоянно глазели на разные дворцы и виллы и говорили, что их круто бы захватить «с позиции силы». Это особенно смешно звучало на фоне резкого упадка советской имперской мощи. Да, сладостно было глючиться на Прагу «с позиции силы» (с позиции магической силы, надо полагать), любоваться очередной пражской весной сквозь спартанский дымок, но нам предстояло возвращение в Ита-

лию. В доме с гигантскими лепными орлами возле Пражского Града, где и по сей день располагается итальянское консульство, Вике наконец-то поставили многострадальную итальянскую визу (стараниями Энрико Коми). И мы вернулись в Италию вместе, как я и мечтал.

Вскоре мы, как Юрген фон Кранах, узрели ацтекско-египетское великолепие миланского вокзала. Это великолепие мы созерцали затем часто, поскольку постоянно отъезжали с этого вокзала в разных направлениях, охваченные естественной жаждой вкусить чудеса Италии. Мы несколько раз ездили в Венецию, посетили Геную, Турин, Лаго-Маджоре и другие края. Мы наблюдали тучи летучих мышей над холодной рекой Тичино. На миланском вокзале в те годы действовал музей восковых фигур, где я больше всего любил, конечно, кабинет застрелившегося Гитлера. Адольф сидел, уронив голову на письменный стол, покрытый картой Европы. В одной руке он сжимал пистолет, а на поверхности Европы лежала кровавая лужа, сделанная из тонкого красного пластика. Один край лужи отслоился от карты и кокетливо загнулся, придавая сцене легкий сюрреалистический привкус в духе Дали. У ног фюрера, носом в пол, валялась восковая Ева Браун.



Музей восковых фигур на железнодорожном вокзале города Милана, 1991 год

Он кормит собак и ласкает их спины,
Он смотрит туда, за меня, где в углу
Лампадка горит под старинной картиной.
Картины не станет, когда я умру.

А что на картине? Не знаю, наверно,
Какие-то люди хоронят двоих.
А кто эти двое? Это мы, моя Ева.
Нас в яму кладут второпях, как чужих.

В Милане Энрико поселил нас в маленьком отеле «Аре-

на» возле римской руины. В этом отельчике, где одеяла были местами прожжены сигаретами предшествующих постояльцев, мы были счастливы, как и перед этим в Праге. Внизу жила старая задыхающаяся собака, похожая на стул, и мы обычно клали на нее ноги, вкушая утренние круассаны. Ей это нравилось, она любила ноги людей. Прекрасную нашу молодую жизнь слегка отравлял только Лейдерман, который постепенно становился невыносимым. Мы бесили его невероятно. Раздражало его почти всё: он шипел и сильно закусывал верхними зубами свою нижнюю губу. В частности, его доводило до бешенства наше увлечение итальянскими древностями. Дело докатилось до того, что он запретил нам произносить в его присутствии слова «готика», «ренессанс», «барокко» и «рококо». Нравилось этому раздражительному парню только современное искусство.

Пикантность всем этим неприятным формам поведения придавал тот факт, что инсталляция, которую наша группа демонстрировала на выставке в Милане, как раз была связана с темами раздражения и умиления. В центре этой инсталляции располагалась большая таблица, изготовленная Лейдерманом, на которой было написано:

ДЕТИ – УМИЛЯЮТ

ПОДРОСТКИ – РАЗДРАЖАЮТ

СТАРИКИ – УМИЛЯЮТ ИЛИ РАЗДРАЖАЮТ

Наверное, мы с Элли выглядели в его глазах такими раздражающими подростками, хотя Элли уже исполнилось двадцать, а мне было двадцать три. Но, видимо, свойственный нам инфантилизм зажигал яркую злобу в чувствительной душе Лейдермана. Ему было тогда двадцать шесть, и он, возможно, полагал себя стариком, в котором умиление и раздражение соединились. Это явление меня так заинтересовало, что я даже написал текст «Канон раздражения» (текст, видно, сгинул где-то среди моих дорожных блокнотов – туда ему и дорога).

Разделавшись с миланской выставкой, мы снова прибыли в Прато, где наш новоиспеченный галерист Пьетро Карини предложил нам пожить. Он поселил нас в принадлежащей ему квартире в центре города, на Via Cesare Guasti, недалеко от центральной площади Прато, где стоит памятник основателю капитализма. Да, Прато – непростой городок. Взять хотя бы лишь этот амбициозный памятник. Мраморный чувак, одетый в мраморные меха, в длинной мантии и плоской шапке по моде пятнадцатого века, торчит посреди площади. На постаменте имя с четким добавлением определения FONDATORE DEL CAPITALISMO. Оказывается, капитализм придумали тосканские банкиры. Из их числа самый выдающийся – вот именно этот, торчащий посреди площади.

Кстати, в Италии тех дней флюид еврокоммунизма также ощущался – скажем за это спасибо Берлингуэру, ведь слово «еврокоммунизм» – первое слово с приставкой «евро-», во-

шедшее в международный язык. Попадались коммунистические кафе, пестревшие портретами Ленина, Мао и Че Гевары. Цены в таких кафе почему-то бывали головокружительно высокие (наверное, в интересах классовой борьбы), зато в одном из них (на пьяцца Кавур) готовили невероятную смесь из всех мыслимых соков, напоминающую сгущенные небеса.

В какой-то момент в Милан прилетел Сережа Ануфриев, мы с Энрико встречали его в миланском аэропорту: Сережа прибыл налегке, уже становилось не на шутку тепло. На нем был старинный песчаного цвета костюм, цветастая рубашонка и сандалии на босу ногу. Его череп был смугл и обрит наголо, и в целом он напоминал человека 30-х или 20-х годов (тогда в моде были загар и обритые бошки). В руках он держал старые обшарпанные лыжи. Сережа рассказал, что утром, выйдя из квартиры на улице Удальцова, чтобы направиться в аэропорт, он увидел в коридоре эти лыжи, видимо, уже не нужные соседям. Зная, что грядет выставка в галерее Карини, Сережа прихватил лыжи с собой – они превратились в объект МГ «Скольжение без обмана». У Сережи имелся философский текст с таким названием: «Текст, сверкающий как хорошо накатанная лыжня». Через пять или шесть лет после описываемых событий мы с Сережей оказались на севере Швеции. Там южанин Сережа впервые в жизни встал на лыжи. Катаясь по низкорослому полярному лесу, где все деревья были не выше нас ростом, Сережа испытал лыжную эйфорию. «Теперь я знаю, что такое скольжение без обма-

на!» – восторженно шептал он в такт лыжным движениям. Что же касается меня, то я с детства был страстным обожателем лыжной эйфории.

Но в тот вечер весны 90-го года, когда мы с Энрико встречали Ануфриева в миланском аэропорту, эйфория накрыла не Сережу (хотя он впервые вступил на землю страны, где цветут апельсины и лимоны), а Энрико. Отведав ужин, изготовленный добрыми руками пышнотелой Лауры, мы расслабленно сидели, попивая едкое кьянти, когда Энрико вздумал показать нам письма, что присылали ему в разные годы его жизни английские художники Гилберт и Джордж. Откуда-то из-под кровати он достал объемистую коробку с письмами, щедро обмотанную пылевыми волокнами. Я далеко не аккуратист, но даже мне бывало страшно заглянуть под диван в квартире Энрико – пыль там клубилась, как лондонский туман над Темзой. Именно из этого тумана пришли по адресу Энрико охапки аккуратных писем – на каждом конверте было чинно начертано: «Мистеру Энрико Р. Коми, эсквайру». Это словечко – «эсквайр» – чуть не убило в тот вечер импульсивного Энрико. Внезапно его дико рассмешило такое обращение к его персоне: он стал бешено хохотать, тыча пальцем в конверты с такой силой, что чуть было не пробил в них дыру.

– Эсквайр! I am esquire! – кричал он, захлебываясь от смеха и запрокидывая к убогому потолку свое красно-седое лицо. Комизм ситуации настолько сотряс его (комизм в

двух смыслах, учитывая его фамилию), что он устроил целый фейерверк из писем. Наверное, чопорные Гилберт и Джордж были бы изумлены, увидев, как Энрико бросает их письма под потолок и фонтанами расшвыривает по комнате, будучи не в силах совладать с безудержным ликованием, которое пронимало его до слез. Да что там Гилберт и Джордж! Даже южанин Сережа Ануфриев, впервые увидевший Энрико в тот день, взирал на этот шквал эмоций с неподдельным изумлением. Позже он сказал, что до этого вечера считал себя крайне эмоциональным человеком, но после «эйфории эсквайра» ему пришлось ощутить себя серебристым налимом с ледяной кровью. В общем, мы морозились как рыбный брикет, наблюдая за буйством итальянского нрава, но наша собственная эйфория еще поджидала нас в тот вечер.

Просто нам, избалованным подонкам, видимо, недостаточно было кислого кьянти из картонной коробки (вино в стекле считалось непозволительной роскошью в демократичном семействе Коми), поэтому, расставшись с Энрико возле руин древнеримской арены, мы приобрели плитку марокканского шоколада у белозубого парня, словно слитого целиком из этого самого шоколада. Придя с этой плиткой в отельчик «Арена», где нас поселил Энрико, мы стали бешено курить один джойнт за другим, и тут запоздало, как до жирафов, до нас дошла эйфория эсквайра и захлестнула наши податливые мозги целиком. Мы отловили такого мощного хохотуна, какого, наверное, еще не видывал этот

скромный отельный номер. Чтобы не сдохнуть от смеха, мы выходили иногда на облый микробалкон покурить сигарету, но и тут настигал нас психоделический хохот: меня сгибало пополам, скручивало в кривую, сигарета выпадала из моих ослабевших пальцев и я ползал по дну балкона, нащупывая ее горящее тельце на плитках, в то время как за мной удивленно наблюдало оранжевое окно дома напротив, окно, в котором я никогда ничего не видел, кроме большой белой лампы, похожей на светящийся зрачок, глядящий на меня сквозь апельсиновые ресницы полупрозрачной занавески. Как сейчас вижу этот простой и тесный дворик, ставший свидетелем смеховой истерики. Между тем этот счастливый вечер, видимо, уже вошел в историю русской литературы, потому что именно тогда, среди прочего смеха (а в такие моменты всё кажется крайне смешным и при этом крайне значительным), я рассказал Ануфриеву про план грандиозного романа «Мифогенная любовь каст», который сложился в моей голове ранней осенью 1987 года – тогда же я написал первую, вступительную часть этого романа («Востряков и Тарковский»), причем писал я пером, обмакивая его в черную тушь, на плотных листах акварельной бумаги, и одной из моих задач – а я поставил перед собой тогда целый куст задач – было писать литературный текст сразу набело, отчетливым и красноречивым почерком, не делая ни одного исправления и не допуская ни одной помарки. С этой задачей я справился на пяти или шести акварельных листах,

но потом перешел на пишущую машинку, а затем, дописав первую часть, и вовсе забыл про этот роман, хотя в целом план его дальнейшего разворачивания вплоть до концовки был у меня детально продуман. Три года не вспоминал я об этом. И тут вдруг, накурившись в номере миланского отеля, я стал со вкусом пересказывать содержание еще не написанного романа Сереже Ануфриеву, что заставляло его извиваться от смеха, хотя произведение предполагалось вовсе не в комическом жанре. Согласно моему изначальному намерению, этот роман должен был войти в корпус классических текстов Большой Русской Литературы (Большой Гнилой Роман, или БГР, в нашей тогдашней терминологии) и обязательно влиться в школьную программу – последнее казалось мне особенно важным, поскольку я был озабочен поисками Канона, а каноническим литературное произведение становится, как я полагал, только обретая недобровольного читателя, обреченного на акт чтения теми средствами принуждения, которыми располагает учебное заведение, способное соорудить читателя вопреки прихотям его собственного вкуса или особенностям его литературного аппетита. Короче, мне хотелось выйти за пределы литературного рынка. Может быть, так бы оно уже и случилось к настоящему моменту, если бы не современные цензурные ограничения в отношении матерного языка. Впрочем, отказаться от использования матерных слов в литературном тексте я был не готов даже ради вождя вхождения в школьную программу, да и сей-

час не хочу отказываться от мата, а всё потому, что усматриваю в матерных словах сакральное измерение, в частности мощные защитные (обережные) свойства. Да, я люблю всей душой три священных слова, три слова-охранника, стоящие на страже русского мира: «хуй», «пизда» и «ебаться». Эти слова защищают любимую родную страну, они защищают вообще всё любимое (в частности, сферу сексуальности), и созданы они вовсе не только лишь для брани, но и для нежности.

Впрочем, я не стану возражать, если в целях обогащения школьной программы когда-нибудь будет создана «боудлеризованная» версия «Мифогенной любви». Вы не знаете, что такое «боудлеризация»? Я вам расскажу.

На заре Викторианской эпохи некий просвещенный англичанин по фамилии Боудлер в целях соблюдения общественной нравственности «очистил» сочинения Шекспира от всех тех словечек и сценок, которые, по мнению Боудлера, могли этой нравственности навредить. Боудлеризованный Шекспир пользовался в ту эпоху таким сногшибательным успехом, что почти на сто лет затмил и вытеснил Шекспира подлинного. И что? Кто нынче помнит Боудлера и его кастрированную версию? Никто. И всё же мистер Боудлер помог Шекспиру продержаться на плаву в тот период, когда литературные нормы стали чересчур уж постными. Если подобный постный период надвигается на русскую словесность, то я не возражаю против временной боудлеризации

нашего эпического сочинения, но сам делать эту работу не хочу (лень, да и зачем? Не мое это дело), а найдется ли свой Боудлер для нашего литературного шедевра – не знаю.

На следующий день мы продолжали писать роман, уже едучи в поезде во Флоренцию, проносясь мимо тосканских ландшафтов, колоколен, живописных и заплесневелых городов, индустриальных ангаров и загадочных огородов, где произрастали полчища гипсовых Венер, Адонисов, Аполлонов и Посейдонов (Северная Италия богата такими огородами богов). И последующие полтора месяца мы постоянно писали МЛК, живя в Прато в просторной квартире на Via Chesare Guasti.

Да, господа присяжные заседатели, бывают в жизни человека счастливые периоды – то был один из них. Мы просыпались с Элли под грохот пратских колоколов, гуляли по окружающим холмам, напевая:

Радость безмерная,
Нет ей причины.
Санта Лючия!
Санта Лючия!

Глава десятая

Катастрофическое лето

Я уехал из Москвы вскоре после Нового года, вернулся в мае. Я почти не узнал свой город. Пока я исследовал новые (или, скорее, сверхстарые) миры, мой собственный советский мир гигантскими шагами шел к своему исчезновению. словно Широкошагающий Ребенок, охваченный стремительной жадной самоистребления.

Я уехал из вальяжной позднесоветской Москвы – расслабленной, изнеженной, барской, беспечно уверенной в себе. А вернулся в мир, который словно бы отбросило на несколько десятилетий назад. Было ощущение, что накануне закончилась Великая Отечественная война. Реальность состарилась, осунулась, подурнела. Тревога и надлом разливались в воздухе. Откуда-то взялись совершенно иные люди на улицах, которых не видно было раньше. Множество персонажей послевоенного покроя вылезли, как из-под земли: контуженные, осатанелые, окаянные, юродивые, урлопаны, бомжи... Многие из них вели себя так, словно рухнул какой-то всеобщий контролирующий аспект реальности и можно стало всё. Калеки захлеб играли на гармониях и inferнальными головами пели те самые песни, что мы только что необдуманно орали в итальянских ресторанах. Регулярное население мо-

розилось в пучинах предельного отчаяния. Легко можно было заполучить перышко под ребрышко, если кому-то не приглянулось твое личико. Самое страшное, что нигде не видно было ни одного мента. Они все попрятались куда-то или же сбросили с себя униформы в ожидании того мига, когда по щелчку, по свисту начнется тотальный зоновский беспредел.

То были времена табачного кризиса. Курево вдруг повсеместно исчезло. Озверевшие мужики толпились возле бесплодных табачных киосков. Говорили, что чувачье так сатанело, что они запирали в киосках ни в чем не повинных продавщиц и сжигали эти ларьки вместе с продавщицами. Бабки стояли на улицах и торговали окурками из литровых банок. Это был ходкий товар.

Короче, с первого взгляда становилось ясно, что Горбачев допрыгался, допизделся, додрыгался со своей дебильной перестройкой. Европа ликовала, освобождаясь от нашего гнета, а нам взамен наступал чугунный аммонит.

Всё это выглядело настолько безутешно, что я решил взять Элли и немедленно уехать с ней в Крым, думая, что на блаженном полуострове мы спрячемся от катастрофических вибраций. Наивная мысль. Блаженный полуостров был частью гибнущего мира, следовательно, катастрофические вибрации присутствовали там в столь же интенсивном состоянии.

Мы приехали в Коктебель, поселились снова у тети Маши,

на задворках Литфонда. Прогулялись. Майский Коктебель был пуст. Отдыхающие не приехали. В первый же вечер мы пошли на набережную в видеосалон, который действовал в литфондовской столовой. Еще длилась эпоха видеосалонов.

Фильм нам не понравился и мы ушли, не дождавшись конца сеанса. Оказалось, так не следовало делать. У входа в писательский парк в тени цветущего дерева расположилась крупная группа людей – человек тридцать. В основном подростки, но в центре группы гнездились несколько субъектов постарше – заводилы. Увидев нас, все они, как по команде, достали ножи.

– Ты вали отсюда, – сказали они девушке. – А ты иди к нам: будем тебя убивать. (Это адресовалось мне.)

Сказано было деловито, решительно, без эмоций. Я было двинулся, как загипнотизированная овца, навстречу своей гибели, но Элли резко дернула меня за руку и мы побежали. Они гнались за нами, выкрикивая: «Не уйдешь, доставим!» Ноги у нас были длинные, к тому же я знал местность, как свои пальцы – каждую щель, каждую дырку в заборе. Мы нырнули в одну из таких щелей и побежали, таясь, укромными тропами писательского парка.

Они рассыпались по парку, перекликались, искали нас. Это была настоящая облава.

Мы благополучно добежали до нашего домика и уснули, думая, что опасность миновала. Но она не миновала. Утром постучалась хмурая тетя Маша и сказала, что они уже при-

ходили, спрашивали, нет ли у нее таких людей. Описывали нашу внешность. То, что утром они продолжили свою охоту на нас, – это поразило меня.

Раньше вечерами и ночами тоже происходило всякое, но утром всё забывалось. Теперь времена изменились, ненависть стала последовательной и беспричинной, она более не была спонтанной вспышкой: она сделалась программой. Они ходили по поселку, расспрашивали хозяек, описывали, как мы выглядим. Это уже были масштабные мероприятия. Им для каких-то целей нужна была жертва из приезжих, желательно из москвичей, желательно из той социальной прослойки, которая тогда называлась «неформальной молодежью» или просто «неформалами». Я своей внешностью, одеждой, манерами и возрастом вполне подходил на эту роль. Конкуренентов же у меня не было – поселок был пуст, отдыхающие не приехали. Поэтому они, что называется, «прикололись».

Тетя Маша сухо сказала, что лучше бы нам уехать. «Шантрапа, конечно, но от греха подальше...» Ей было нелегко это сказать. Она шла против своих интересов: ей было выгодно сдавать нам жилье.

Мы уехали. Сначала на Биостанцию, что на другой стороне Кара-Дага. Крымское море было как всегда нежным и восхитительным, солнечные лучи ласкали мое лицо так же, как в детстве, и согретые травы остро благоухали: жабы, чайки и цикады аккуратно вносили свою лепту в святую алеа-

торику весеннего Крыма, но человеческий мир угрожающе изменился и от него нельзя было отрешиться простым мысленным усилием. Я чувствовал угрозу, повисшую в ароматном и соленом воздухе. Я ощущал горестную невозможность глубокого растворения в окружающем меня возлюбленном пространстве, в котором еще год назад я растворялся свободно и восторженно. Теперь я смотрел на всё это как бы сквозь стеклянные двери.

Лишь один раз эти стеклянные двери приоткрылись – когда я ссал за старым зданием Биостанции (это здание дало имя поселку). Сверкающая струйка мочи уходила в иссохшую землю, за моим затылком шелестело и ворчало море, билась о разбитую стену какая-то ржавая проволока, которую невзлюбил ветер, чайки кричали с высоты что-то о книгах и глобусах, где-то неподалеку блестящие дельфины скрипели в зеленых водах бассейна... Стало хорошо, похуистично. Но ненадолго. Скоро снова дернулись, толкнулись и застучали в моем сознании вагончики страха.

Мы уехали в Москву. И, видимо, правильно сделали – в тот год в летние месяцы на югах было убито энное количество москвичей, еще большее количество – жестоко избито. Это была судорога окраин, решившихся отомстить центру за блядскую перестройку, разрушившую упорядоченный советский мир.

Между прочим, это была также последняя волна совершенно бескорыстного, некоммерческого насилия. Не прой-

дет и двух лет, как насилие будет коммерциализовано, и людям станет казаться странным убивать или калечить бесплатно – эти дела сделаются профессиональной заботой одной из социальных каст, то есть обширного и разнообразно организованного криминального мира (так называемые братки). И объектом этого насилия станут главным образом коммерсанты, орудующие в структурах становящегося капитализма.

Но тогда, в 90-м году, объектом насилия становились московские «неформалы»: наивная молодежь окраин желала наказать молодежь центра за разложение и утрату советской «формы». На юге бессознательный или предсознательный страх перед потерей формы играет колоссальную роль. Где знойно, там форма важнее содержания. На севере социальная форма гарантирована извне: она возникает как ледяной кристалл, образуемый холодом. Но там, где холод не работает, там усилии холода должно быть компенсировано социальным неврозом.

Относительно той стаи, что пыталась взять наш след, я затем выяснил, что это были ребята из Шепетовки – села на полпути между Коктебелем и Биостанцией. Некий парень, незадолго до того откинувшийся с зоны, собрал сходняк из пацанов, объяснил, что надо наказать москвичей, которые ушли в отрицалово. На вопрос, как выбирать жертву, ответил, что идеальным знаком является борода. «Надо валить бородатых – они такие ленивые, что им даже побриться лень» – таков был аргумент. Так я чуть было не лишился

жизни из-за своей курчавой бороды.

Большая борода на лице очень молодого человека в некоторых социальных и территориальных стратах может оказаться шокирующей. В одном из романов Ивлина Во описано изумление Тони Ластва, когда он встречается в клубе юношу с длинной бородой.

Борода (как и лень) в некоторых архаических сообществах есть знак силы и опыта – этот знак еще надо заслужить. Беспечное же отпускание бороды, не подкрепленное должным статусом, может быть наказано как проявление дикости, или расхлябанности, или чрезмерной свободы. Бакланы из Шепетовки, объявившие войну юным московским барбудос, как бы продолжали дело Петра Первого, который топором рубил боярские «мочалки». Как ни странно, бакланы стояли на страже предшествующего витка вестернизации, они пытались блюсти когда-то навязанный Западом образ военизированного (то есть униформированного) крестьянина, охраняющего южные границы империи. Такова уж история России: вечная борьба различных вестернизаций. Каждый раз новейшая волна вестернизации пытается беспощадно уничтожить предшествующую.



**В сумерках, возвращаясь на дачу, мы нашли
котенка и назвали его**

ШТИРЛИЦ



В Москве было не лучше. В художественном сквоте на Чистых прудах (этот сквот заменил собой Фурманский переулок) появились рэкетеры: они забирали у художников картины, а взамен насильственно выдавали некие суммы денег. То есть осуществляли как бы такую недобровольную закупку художественных произведений. Возглавлял эту группировку некий Миша Цыган. На самом деле все они были чеченами. Осталось неясным, кто надоумил этих ребят заняться этим глупейшим делом. Кто-то капнул им в уши, что, мол, работы этих художников можно дорого продать на Западе.

Продать отчужденные работы они, конечно же, не смогли и, наверное, быстро осознали, что дело – тухляк. Но летом 90-го года повсюду веяло непонятками. Позвонили и мне. Кто-то дал им мой номер. Интересно кто? Голос с легким акцентом кратко сообщил, что срочно нужны сорок моих работ. Парни сейчас подъедут. Платят два лимона деревянными.

Я сказал, что подъезжать не нужно, что работ у меня, к сожалению, нет, поскольку я недавно выписался из психиатрической клиники, нахожусь не в лучшем состоянии и творить пока что не могу. Мне не пришлось особо врать: никаких картин у меня дома действительно не было, я действительно год назад лежал в психиатрической клинике, и к моменту этой телефонной беседы мое психическое состояние оставляло желать лучшего. Я почти перестал выходить из до-

ма. Крыша у меня ехала конкретно. Я ничего не делал, только читал детские книги. Это меня немного успокаивало. Как написал Мандельштам:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.